

*Писатели-патриоты  
великой родины*



# **И. С. ТУРГЕНЕВ**

( 1818 - 83 )



**О Г И З**

---

---

*Гослитиздат 1944*

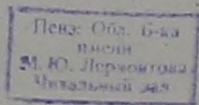
И. С. Т У Р Г Е Н Е В

(1818—1883)

ИЗБРАННОЕ

Т 87

Подбор текста  
и вступительная статья  
Н. КАЛИТИНА



О Г И З

Государственное издательство  
художественной литературы

МОСКВА—1944

Под редакцией  
А. М. ЕГОЛИНА, Е. Н. МИХАЙЛОВОЙ,  
И. Н. РОЗАНОВА

## И. С. ТУРГЕНЕВ

Писательская деятельность И. С. Тургенева протекала в основном в период сороковых — шестидесятых годов прошлого века. Это время характеризовалось бурным ростом общественного сознания, расцветом передовой демократической мысли. И на всём протяжении своей деятельности Тургенев горячо и страстно откликается на все важнейшие вопросы, волновавшие его современников.

«Тургенева, — писал Добролюбов, — по справедливости можно назвать живописателем и певцом той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее двадцатипятилетие... Этому чутью автора к живым струнам общества, этому уменью тотчас отозваться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что ещё начинающее проникать в сознание лучших людей, мы приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался Тургенев в русской публике».

Тематика и круг образов Тургенева весьма разнообразны. И всюду он умел осветить какой-то ещё не знакомый читателю уголок жизни, по-иному показать уже знакомое, согреть свои образы горячим, возвышенным чувством любви к народу...

Тургенев первый сделал крестьянина центральным героем художественного произведения. «Записки охотника» открыли русской читающей публике почти вовсе не известный ей мир мыслей и чувств русского крестьянина, раскрыли богатство его натуры, глубину переживаний.

С большой человеческой теплотой рисует Тургенев людей из народа: доверчивого, простодушного Калныча, несправимого идеалиста и бесребренника («Хорь и Калиныч»), мечтательного Касьяна, исходившего вдоль и поперёк чуть ли не всю Россию и всё не могущего налюбоваться её просторами, её степями и реками («Касьян с Красивой Мечи»), большую крестьянскую девушку Лукерью, прикованную к койке и всё же умеющую ощутить радость жизни в волнующей близости к природе, в радужных снах и мечтах («Живые мощи»). Рассказывая



о печальной судьбе обездоленных и тёмных Стёпушки и Власа («Малиновая вода»), Тургенев и в этих, казалось бы, окончательно забытых людях умеет разглядеть сокровенные движения души, трогательные переживания. Пленительны образы крестьянских ребят из «Бежина луга», смыхлёных и бойких, решительных и предприимчивых; бесконечно трогательны образы русских девушек — гордой и сильной Ольги («Мой сосед Радилов»), красавицы Матрёны, жертвующей своим счастьем ради близкого человека, глубоко любящей и страдающей Акулины («Свидание»). В этих и других героинях «Записок охотника» во многом уже предвосхищены черты героинь будущих романов писателя, обязательных «тургуневских женщин».

Тургенев восхищается глубокой одарённостью русского народа, его восприимчивостью, тягой к прекрасному. В тёмном, грязном кабаке писатель увидел светлые слёзы умиления, рождённые чудесной песней, в которую простой фабричный Яков сумел вложить так много чувства, так много подлинно русского, близкого и понятного каждому из его слушателей («Певцы»). С большим мастерством и чуткостью изображает здесь писатель трогательные душевные движения обычных, «серых» людей, в которых его взор художника-гуманиста умеет отыскать подлинно живые струны.

Для того чтобы так показать внутренний мир русского крестьянина, как это сделал Тургенев в «Записках охотника», недостаточно было только хорошо знать быт российской деревни и владеть даром художественного изображения. Для этого нужно было то «сочувствие к народу, родственное к нему расположение», которыми восхищался сам Тургенев, говоря об одном из своих современников-писателей.

Любовь к родине, тревога за её судьбу, боль за страдающий, угнетённый народ определяли степень ненависти Тургенева к крепостному праву, которое он называл своим злейшим врагом. Заслуга Тургенева, выступавшего с резким обличением крепостничества, представляется особенно значительной в свете ленинского замечания о том, что «в ту пору..., когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками»<sup>1</sup>. С нескрываемой неприязнью выводит писатель в своих рассказах типы помещиков-крепостников, рисует картины произвола и издевательства господ над своими рабами.

Ставя в заслугу Некрасову и Салтыкову-Щедрину, что они «учили русское общество различать под приглаженной и напوماженной внешностью образцовности крепостника-помещика его хищные интересы, учили ненавидеть лицемерие и бездушные подобных типов»<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, т. II, «От какого наследства мы отказываемся», стр. 315.

<sup>2</sup> В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, т. XII, «Памяти графа Гейдена», стр. 9.

В. И. Ленин вспоминает «Записки охотника» и на примере г-на Пеночкина из рассказа «Бурмистр» показывает, как обнажал Тургенев омерзительное нутро помещика-крепостника, в какие бы внешне «гуманные» формы ни облекалось его поведение.

Типам крепостников Тургенев противопоставляет людей, готовых на борьбу, на подвиг, людей, преданных народу, ставящих его интересы превыше всего. Со всей решительностью приходит он к мысли «о необходимости сознательно героических натур... для того, чтобы дело подвинулось вперед». В романе «Накануне» Тургенев даёт образ пламенного борца, посвятившего всю свою жизнь борьбе за освобождение родной страны. В этом романе Тургенев воспекает величие и святость патриотического чувства... «Освободить свою родину!.. Эти слова даже выговорить страшно, так они велики» — вот фраза, которую вкладывает писатель в уста героини романа — Елены Стаховой: А на её вопрос: «Вы очень любите свою родину?» — герой романа отвечает: «Это ещё неизвестно... Вот — когда кто-нибудь из нас умрёт за неё, тогда можно будет сказать, что он её любил...»

Другой попыткой изобразить решительную, волевою натуру был роман Тургенева «Отцы и дети». Центральный образ его, «нигилист» Базаров, вызвал очень много споров. Однако все эти споры не могли заслонить самого главного: в столкновении с людьми старого мира все преимущества оказывались на стороне Базарова, в котором Тургенев стремился воплотить черты революционно-демократической молодёжи шестидесятых годов. В ответ на обвинения критики Тургенев писал, что Базаров «подавляет все остальные лица романа», потому что он «честен, правдив и демократ до мозга костей».

Подлинно русским писателем, сумевшим дать высокохудожественное воплощение лучших черт своего народа, выступает перед нами Тургенев как создатель чудесных женских образов. Самые благородные, возвышенные стремления и чаяния русского народа воплотил Тургенев в героинях своих произведений. Если в ранних рассказах, таких, как «Переписка», «Затишье» и другие, писатель рисует печальную судьбу русской девушки-провинциалки, не видящей никаких перспектив в жизни, то, начиная с первого своего романа, Тургенев даёт сильные и смелые женские натуры, вдохновляемые высокими целями служения человечеству. Героиня «Рудина» — Наталья, зажжённая пламенными речами своего избранника, готова пойти на все лишения во имя борьбы за открывшиеся перед ней прекрасные идеи. О героине романа «Накануне» Добролюбов говорит, что в ней «ярко отразились лучшие стремления нашей современной жизни». Любовью к угнетённому народу, стремлением видеть свою родину свободной и счастливой дышат все мысли и поступки другой чудесной русской девушки — Марианны («Новь»). Галерея тургеневских женщин увенчивается образом девушки-революционерки («Порог»), безоговорочно отдающей себя служению великому делу освободительной борьбы.

Говоря о мотивах и образах Тургенева, рисующих его как подлинно русского писателя, нельзя не сказать о том большом месте, которое занимают в его произведениях картины русской природы. Никто так волнующе не передал её обаяние, никто не запечатлел её в таком чарующем многообразии, как это сделал Тургенев. В «Записках охотника», в «Поездке в Полесье» и других произведениях перед читателем как бы раскрывается самая душа русской природы, спокойной и грозной, смеющейся и плачущей, обыденной и поэтической.

Близость к природе, мысли, рождаемые созерцанием привычных и в то же время столь дорогих сердцу русских пейзажей, вызывают у Тургенева взволнованные признания, дышащие глубокой привязанностью к родной стране. Степной запах конопли возбуждает в душе героя «Аси» такую страстную тоску по родине (дело происходит за границей), такое непреодолимое желание дышать русским воздухом, ходить по русской земле, что все только что волновавшие его заботы и сомнения сразу оказываются ничтожными в сравнении с этим ярким и жгучим чувством. О тех же переживаниях говорит Тургенев и в своих письмах, особенно из-за границы, где подолгу приходилось жить писателю. Устами одного из своих героев Тургенев прекрасно выразил это ощущение неразрывной связанности с родной страной: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись» («Рудин»).

В статьях и выступлениях на политические и социальные темы Тургенев остаётся всё тем же патриотом, человеком, горячо любящим свою страну, остро переживающим её успехи и горести. Неподдельной болью дышат высказывания Тургенева о неудачах России в Крымской кампании, с возмущением говорит он о людях, бросающих тень на звание русского солдата и офицера, горячо приветствует помощь, оказанную Россией угнетённым славянским народом. С гордостью вспоминает писатель имена славных людей русских, возглавивших народ в тяжёлые годы борьбы с интервентами в XVII веке, с неподдельным восхищением отзывается о героях великой отечественной войны 1812 года.

В героическом прошлом своей страны, в лучших чертах русского национального характера видел Тургенев выражение творческих сил своего народа и черпал веру в его великое будущее. «Западничество» Тургенева не мешало ему признавать историческое значение самобытности русского народа. Напротив, — всё своеобразное, национальное, что бесконечно дорого было ему в русском народе, по его глубокому убеждению, особенно ярко проявлялось именно в результате приобщения России к культуре других народов, творческой переплавки этой культуры в горниле русской жизни. «История искусства и литературы, — писал Тургенев, — у нас на Руси замечательна своим особенным, двойственным развитием... Мы начинаем с подражания чужеземным образцам; люди с талантом чисто внешним, говорливые и деятельные, представляют в своих произведениях, лишённых всякой живой связи с



народом, одни лишь отражения чужого таланта, чужой мысли, — что им не мешает самодовольно толковать об оригинальности, о народности... Между тем неслышно и тихо совершается переворот в обществе; иноземные начала перерабатываются, превращаются в кровь и сок; восприимчивая русская природа, как бы ожидавшая этого влияния, развивается, растёт не по дням, а по часам, идёт своей дорогой — и со всей трогательной простотой и могучей необходимостью истины возникает вдруг, посреди бесполезной деятельности подражания, дарование свежее, народное, чисто русское, — как возникнет со временем русский разумный и прекрасный быт, и оправдает, наконец, доверие нашего великого Петра к нестойчивой жизненности России.

И не случайно и в письмах и в отдельных эпизодах своих повестей и романов Тургенев так часто противопоставляет дорогим ему чертам русского народа жалкое филлистерство, мещанскую самовлюблённость немецкого бюргера, наглость и чванство облечённого в прусский мундир пошляка и хама. Лицемер и трус Ратч («Несчастливая»), самовлюблённый и важничавший Клубер, побоявшийся, однако, вступить за свою невесту, оскорблённую пьяным немецким офицером («Вешние воды»), задиристый и храбрый до первого отпора Штопель, поставленный на своё место бедным, но гордым русским дворянином («Чертопханов и Недопюскин») — таковы эти заклеимённые Тургеневым носители самодовольной пошлости, прикрывающейся громкими словами о цивилизованности и культурности немецкой нации.

Уже в семидесятых годах Тургенев разглядел хищническую физиономию германского милитаризма. Он прекрасно отдаёт себе отчёт в тех сокровенных побуждениях, которые руководили Германией в франко-прусской войне, и, радуясь падению «гноусной империи Наполеона», в то же время с отвращением говорит о «завоевательной личности, овладевшей всей Германией», а немного позднее предсказывает опустошительную войну между Германией и Россией, которую «начнёт Германия».

Облик Тургенева-патриота раскрывается также в его статьях и высказываниях на литературные темы. С трепетной любовью и заботой следил он за успехами русской литературы, восторгаясь её славным прошлым и предрекая ей ещё более славное будущее.

Важнейшим мерилом значительности и долговечности литературного произведения было для Тургенева требование народности. В творчестве великих мастеров художественного слова он особенно ценил любовь к своей стране, слияние писателя со своим народом. С чувством огромного национального удовлетворения говорил он о нашем праве называться великой нацией, ибо только великий народ мог дать миру таких писателей, как Пушкин, Гоголь, Белинский, Толстой. Гордостью за свою страну, за её народ, за могучий, свободный и правдивый язык этого народа дышат суждения Тургенева о русской литературе. «Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому наро-

ду»—вот замечательные слова патриота, которыми так глубоко запечатлел Тургенев свою любовь к родному, русскому, национальному.

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, — писал он, — этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием: в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса!» Более чем сорокалетняя деятельность Тургенева как писателя внесла в историю русской литературы замечательные страницы, еще раз показавшие красоту и гибкость, мощь и величие русского языка. Не случайно, говоря об этих качествах нашего языка, указывая, что «язык Тургенева, Толстого, Добролюбова, Чернышевского — велик и могуч»<sup>1</sup>, — Ленин на первое место поставил имя создателя «Записок охотника».

Великий художник слова, человек с русским сердцем и душой, Тургенев был и остаётся одним из любимейших писателей советского народа.

*Н. КАЛИТИН*

---

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Сочинения, изд. 3-е, т. XVII, стр. 180.

## ДЕРЕВНЯ

---

Люблю я вечером к деревне подъезжать,  
Над старой церковью глазами провожать  
Ворон играющую стаю;  
Среди больших полей, заповедных лугов,  
На тихих берегах заливов и прудов  
Люблю прислушиваться к лаю

Собак недремлющих, мычанью тяжких стад;  
Люблю заброшенный и запустелый сад  
И лип незыблемые тени.  
Не дрогнет воздуха стеклянная волна;  
Стоишь и слушаешь—и грудь упоена  
Блаженством безмятежной лени...

Задумчиво глядишь на лица мужиков—  
И понимаешь их; предаться сам готов  
Их бедному, простому быту...  
Идёт к колодезю старуха за водой;  
Высокий шест скрипит и гнётся; чередой  
Подходят лошади к корыту...

Вот песню затянул проезжий... Грустный звук!  
Но лихо вскрикнул он—и только слышен стук  
Колёс его телеги тряской;



Выходит девушка на низкое крыльцо-  
И на зарю глядит... и круглое лицо  
Зарделось алой, яркой краской.

- Качаясь медленно, с пригорка, за селом  
Огромные возы спускаются гуськом  
С пахучей данью пышной нивы;  
За конопляником, зелёным и густым,  
Бегут, одетые туманом голубым,  
Степей широкие разливы.

Та степь—конца ей нет... раскинулась, лежит...  
Струистый ветерок бежит, не пробежит...  
Земля томится, небо млеет...  
И леса длинного подёрнутся бока  
Багрянцем золотым, и ропщет он слегка,  
И утихает, и синее...

БЕЖИН ЛУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце—не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное—мирно всплывает из-под узкой и длинной тучки, свежо просияет и погрузится в лиловый её туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи,—и весело и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко-прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, лёгкий, бледнолиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределён-

ные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно вошло на небо, алое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нём вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не ярки; на всём лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты—несомненный признак постоянной погоды—высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет польнью, скатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба.

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Черском уезде Тульской губернии. Я нашёл и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, ещё светлом, хотя не озарённым более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошёл я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо ожидаемой знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо напротив крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге!—подумал я.—Да это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошёл в погреб; густая, высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорее выкарабкался на другую сторону и пошёл, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в своё гнездо. «Вот, как только я выйду на тот угол,—

думал я про себя,—тут сейчас и будет дорога; а с версту крику я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги; какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мной, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за пригча?! Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! Да это Парахинские кусты!—воскликнул я наконец.—Точно! Вот это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашёл? Так далеко?... Странно! Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошёл вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попала какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперёд. Всё кругом быстро чернело и утихало,—одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрёл по полю межой. Уже я с трудом различал отдалённые предметы: поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался утриумый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть, но то уже была синева ночи. Звёздочки замелькали, зашевелились на нём.

Что я было принял за рощу, оказалось тёмным и круглым бугром. «Да где же это я?» повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую жёлто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперёд, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной ложине. Странное чувство тотчас овладело мной. Ложина эта имела вид почти



правильного котла с пологими боками; на дне её торчало стоямя несколько больших белых камней,—казалось, они сползли туда для тайного совещания,—и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверёк слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бутор. До сих пор я всё ещё не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже несколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошёл себе прямо, по звёздам—на-удалую... Около полудня шёл я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонёк, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я всё шёл и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдёргнул занесённую ногу и сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала её уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали её течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертанья отделялись, чертея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, тёмным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашёл. Этот луг славится в наших околотках под названьем Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в такую пору; ноги подкашивались подо мною от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожидаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю, ухващенную мною ветку,

как вдруг две большие белые лохматые собаки с злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней, два три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошёл к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за туртовщиков. Это просто были крестьянские ребяташки из соседней деревни, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днём мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгнать перед вечером и пригонять на утренней заре табун—большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с весёлым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Лёгкая пыль жёлтым столбом поднимается и несётся по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ногу, скачет какой-нибудь рыжий космач с репейниками в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилёг под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнёт голые сучья лозника и разом исчезнет; острые длинные тени, вырываясь на мгновенье, в свою очередь, добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещённого места трудно разглядеть, что делается в потёмках, и потому вблизи всё казалось задрнутым почти чёрной



завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Тёмное, чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах—запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснёт большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг их; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства, сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить своё желание. Всех мальчиков было пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. (Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувесёлой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нём была пёстрая ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги—не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были вклученные, чёрные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котёл, тело приземистое, неуклюжее. Мальшй был неказистый,—что и говорить!—а всё-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Илюши, было довольно незначительно: горбоносое,

вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились, он словно всё щурился от огня. Его жёлтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нём были новые лапти и онучи; толстая верёвка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную чёрную свитку. И ему и Павлуше на вид было не больше двенадцати лет. Четвёртый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал моё любопытство своим задумчивым и печальным взором. Всё лицо его было невелико, худо, в веснушках, конизу заострено, как у белки; губы едва было можно различить, но странное впечатление производили его большие чёрные, жидким блеском блестящие глаза; они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке,—на его языке по крайней мере,—не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного, и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было не заметил: он лежал на земле, смирихонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под неё свою русую, кудрявую головку. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котёльчик висел над одним из огней; в нём варились «картошки». Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Илюша сидел рядом с Костей и всё так же напряжённо щурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились.

Сперва они покалякали о том, о сём, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Илюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видел, да его и видеть нельзя,—отвечал Илюша сильным и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица;—а слышал... Да и не я один.

— А он у вас где водится?—спросил Павлуша.

— В старой рольне<sup>1</sup>.

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом Авдюшкой в лисовщиках состоим<sup>2</sup>.

— Вишь ты—фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал?—спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Фёдором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да ещё с Ивашкой Сухо-руковым, да ещё были там другие ребята; всех было нас ребяток человек десять—как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть, не то, чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил—говорит: что, мол, вам, ребяткам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну как домовой придёт?.. И не успел он, Авдей-от, проговорить, как вдруп кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот, прошёл он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то<sup>3</sup> спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошёл тот опять к двери наверху да по лестнице спускаться стал, и эдак спускается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошёл тот к нашей двери, подождал, подождал,—дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим—ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма<sup>4</sup> зашевелилась, поднялась, окунулась, походила,

<sup>1</sup> «Рольней» или «черпальной» на бумажных фабриках называется то строение, где в чанах вычерпывают бумагу. Оно находится у самой плотины, под колесом. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> «Лисовщики» глядят, скоблят бумагу. (Прим. автора.)

<sup>3</sup> «Дворцом» называется у нас место, по которому вода бежит на колесо. (Прим. автора.)

<sup>4</sup> Сетка, которой бумагу черпают. (Прим. автора.)

походила эдак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь; потом будто кто-то к двери пошёл, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь, как!—промолвил Павел.—Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что,—спросил Федя,—картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула,—прибавил он, повернув лицо в направлении реки:—должно быть, щука... А вон звёздочка покатила.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу,—заговорил Костя тонким голоском:—послушайте-ка, намерюсь что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем,—с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да, знаем.

— А знаете ли, отчего он такой всё невесёлый, всё молчит, знаете? Вот отчего он такой невесёлый: пошёл он раз,—тятенька говорил,—пошёл он, братцы мои, в лес по орехи. Вот, пошёл он в лес по орехи, да и заблудился; зашёл, бог знает, куды зашёл. Уж он ходил, ходил, братцы мои,—нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра,—присел и задремал. Вот задремал и слышит, вдруг, кто-то его зовёт. Смотрит—никого. Он опять задремал,—опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовёт, а сама помирает со смеху, смеётся... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц,—всё, братцы мои, видно. Вот зовёт она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь,—а то вот ещё карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она, знай, хохочет, да его всё к себе эдак рукой



зовёт. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, зная, господь его надоумил: положил-таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит: рука, просто, как каменная, не ворочается... Ах, ты эдакой, а!.. Вот, как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у неё зелёные, что твоя конопля. Вот, поглядел, поглядел на неё Гаврила, да и стал её спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе,—говорит,—человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятливо стало, как ему из лесу, то есть, выгнать... А только с тех пор вот он всё невесёлый ходит.

— Эка!—проговорил Федя после недолгого молчанья.—Да как же это может эдакая лесная нечисть христианскую душу испортить—он же её не послушался?

— Да вот, поди ты!—сказал Костя.—И Гаврила баил, что голосок, мол, у неё такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал?—продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатях, всё слышал.

— Чудное дело! Чего ему быть невесёлым?.. А, зная, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился!—подхватил Илюша.—Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки,—заметил Федя.

— Нет,—ответил Костя:—здесь место чистое, вольное. Одно—река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стелющийся звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься,—и как будто нет

ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила!—шепнул Илья.

— Эх, вы, вороны!—крикнул Павел.—Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.)—Чего же ты?—сказал Павел.

Но он не вылез из-под рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слышали вы, ребята,—начал Илоша,—что намерились у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то?—спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом всё такие буераки, овраги, а в оврагах всё казюли<sup>1</sup> водятся.

— Ну, что такое случилось? Сказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен, а утопился он давным-давно, как пруд ещё был глубок; только могилка его ещё видна, да и та чуть видна: так—бугорочек... Вот, на-днях, зовёт приказчик псаля Ермила; говорит: ступай, мол, Ермил, на пошту. Ермил у нас завсегда на пошту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псаля он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмельён. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он эдак, псаля Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: сем возьму его, что ему так пропадать, да и слез, и взял его на руки... Но а барашек—ничего. Вот идёт Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясёт; однако он её отпрукал, сел на неё с барашком и поехал опять: барашка

<sup>1</sup> По-орловскому: змея. (Прим. автора.)



перед собой держит. Смотрит он на него, а барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что, мол, не помню я, чтобы эдак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он эдак его по шерсти гладить, говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожки, Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принёсся уже издалёка... Прошло ещё немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно прыгнул с неё Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки.

— Что там? Что такое?—спросили мальчики.

— Ничего,—отвечал Павел, махнув рукой на лошадь,—так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк,—прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновенье. Его некрасивое лицо, оживлённое быстрой ездой, горело смелой удаleyю и твёрдой решимостью. Без хвостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то?—спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много,—отвечал Павел;—да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнём. Садясь на землю, уронил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал,—заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить своё достоинство).—Да и собак тут нелёгкая дёрнула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Ещё бы! Ещё какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали—покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и всё эдак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал.—Что, мол, батюшка Иван Иванович, изволишь искать на земле?

— Он его спросил?—перебил изумлённый Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу. Да так глухо говорит, глухо: разрыв-травы.—А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв-травы?—Давит, говорит, могила давит, Трофимыч; зон хочется, вон...

— Вишь какой!—заметил Федя.—Мало, знать, пожил.

— Экое диво!—промолвил Костя.—Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно,—с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья...—Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да всё на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь?—с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго-долго, никого не видела и не слыхала... только всё как будто собачка эдак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идёт по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась—Ивашка Федосеев идёт...

— Тот, что умер весной?—перебил Федя.

— Тот самый. Идёт и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идёт. Она вглядываться, вглядываться,—ах, ты, господи!—сама идёт по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама?—спросил Федя.

— Ей-богу, сама!

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на неё: в чём душа держится!

Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымилась и пошли коробиться, приподнимая обожжённые концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг, откуда ни возьмись, белый голубок,—налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился,—заметил Павел.—Теперь будет лететь, куда на что наткнётся, и где ткнёт, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша,—промолвил Костя,—не праведная ли это душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть,—проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша,—начал Федя,—что у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?<sup>1</sup>

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напужались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напредки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди! А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть,—говорит,—наступило светопреставление». Так шти и потекли. А у нас на деревне: такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки

<sup>1</sup> Так мужики называют у нас солнечное затмение. (Прим. автора.)

по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку<sup>1</sup> увидят.

— Какого это Тришку?—спросил Костя.

— А ты не знаешь?—с жаром подхватил Илюша.—Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка—эвто будет такой человек удивительный, который придёт, а придёт он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например, взять хрестьяне... выдут на него с дубьём, оцепят его, но а он им глаза отведёт—так отведёт им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например,—он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнёт туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется—они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по сёлам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да,—продолжал Павел своим неторопливым голосом,—такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнётся, так Тришка и придёт. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждёт, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят—вдруг от слободки с горы идёт какой-то человек, такой мудрёный, голова такая удивительная.. все как крикнут: «Ой, Тришка идёт! Ой, Тришка идёт!» да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дворную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овёс, присел, да давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Таково-то все переполошились!.. А человек-то это шёл наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил, да на голову пустой жбан и надел.

<sup>1</sup> В поверье о «Тришке», вероятно, отозвалось сказание об антихристе. (Прим. автора.)



Все мальчишки засмеялись и опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные, золотые звёзды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли... Станный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул...

— Что это?

— Это цапля кричит,—спокойно возразил Павел.

— Цапля,—повторил Костя.—А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером,—прибавил он, помолчав немного:—ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шёл я из Каменной Гряды в Шапкино; а шёл сперва всё нашим орешником, а потом лужком пошёл—знаешь, там, где он сугибелью<sup>1</sup> выходит,—там ведь есть бучило<sup>2</sup>, знаешь, оно еще всё камышом заросло; вот, пошёл я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо-жалостливо: у-у... у-у... у-у!.. Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезненный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? Ась?

— В этом бучиле, в запрошлом лете, Акима-лесника утопили воры,—заметил Павлуша;—так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои,—возразил Костя, расширив

<sup>1</sup> Сугибель — крутой поворот в овраге. (Прим. автора.)

<sup>2</sup> Бучило — глубокая яма с весенней водой, оставшейся после половодья, которая не пересыхает даже летом. (Прим. автора.)

свои и без того огромные глаза.—Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие,—продолжал Павел,—которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.)—Эк её!—неволью произнёс Костя.—Словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой,—подхватил Илюша:—он только в ладоши хлопает да трещит.

— А ты его видал, лешего-то, что ли?—насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани бог его видеть; но а другие видели. Вот на-днях он у нас мужичка обошёл: водил, водил его по лесу, и всё вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, тёмный, скутанный, эдак словно за деревом, хорошенько не разберёшь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты!—воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передёрнув плечами.—Пфу!..

— И зачем эта погань в свете развелась?—заметил Павел.—Право!

— Не бранись: смотри, услышит,—заметил Илья.

Настало опять молчанье.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки,—раздался вдруг детский голос Вани;—гляньте на божьи звёздочки,—что пчёлки роятся!

Он выставил своё свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня,—ласково заговорил Федя,—что, твоя сестра Анютка здорова?

— Здорова,—отвечал Ваня, слегка картавя.

— Ты ей скажи—что она к нам, отчего не ходит?..

— Не знаю.

— Ты ей скажи, чтобы она ходила.



— Скажу.

— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.

— А мне дашь?

— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

— Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.

И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руки пустой котёльчик.

— Куда ты?—спросил его Федя.

— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить. Собаки поднялись и пошли за ним.

— Смотри, не упади в реку!—крикнул ему вслед Илоша.

— Отчего ему упасть?—сказал Федя.—Он остережётся.

— Да, остережётся. Всяко бывает: он вот нагнётся, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какой упал?.. Во-вон, в камыши полез,—прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас

— А правда ли,—спросил Костя,—что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной её испортил. Знать, не ожидал, что её скоро вытащут. Вот он её, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с чёрным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, толчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

— А говорят,—продолжал Костя,—Акулина оттого в реку и кинулась, что её полюбивник обманул.

— От того самого.

— А помнишь Васю?—печально прибавил Костя.

— Какого Васю?—спросил Федя.

— А вот того, что утонул,—отвечал Костя,—в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! И-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды гибель произойдёт. Бывало, пойдёт-от Вася с нами, с ребятами, летом, в речку купаться,—она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! Ох, вернись, соколик!» И как утонул, господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено стробала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает,—глядь, а только уж одна Васина шапoнька по воде плывёт. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своём уме: придёт да и ляжет на том месте, где он утoп; ляжет, братцы мои, да и затынет песенку,—помните, Вася-то всё такую песенку певал,—вот её-то она и затынет, а сама плачет, плачет, горько богу жалится.

— А вот Павлуша идёт,—молвил Федя.

Павел подошёл к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята,—начал он, помолчав,—неладно дело.

— А что?—торопливо спросил Костя.

— Я Васи́н голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты?—пролепетал Костя.

— Ей-богу! Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг, зовут меня эдак Васиным голосом и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша, подь сюда». Я отошёл. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты, господи! Ах ты, господи!—проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел,—прибавил Федя.— А мы только что об нём, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная,—с расстановкой проговорил Илюша.

— Ну, ничего, пуцай!—произнёс Павел решительно и сел опять.—Своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произ-

вели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнём, как бы собираясь спать.

— Что это?—спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда же они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко-далеко, за тёплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трёх часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц вошёл наконец; я его не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же великолепна, как и прежде... Но уже склонились к тёмному краю земли многие звёзды, ещё недавно высоко стоявшие на небе; всё совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает всё только к утру: всё спало крепким, неподвижным, предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло,— в нём снова как будто разливалась сырость... Не долги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звёзд, тоже лежали, понурив головы... Слабое забытье напало на меня; оно перешло в дремоту.

Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро начиналось. Ещё нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Всё стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледносерое небо светлело, холодело, синело; звёзды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошёл бродить и порхать над землёю. Тело моё ответило ему лёгкой, весёлой дрожью. Я проворно встал и пошёл к мальчикам. Они все спали, как убитые, вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошёл во-свояси, вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух вёрст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади, по длинной, пыльной дороге, по сверкающим, обгаренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редяющего тумана,—полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Всё зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убится, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

1851

## КАСЬЯН С КРАСИВОЙ МЕЧИ

Я возвращался с охоты в тряской тележке и, подавленный душным зноем летнего облачного дня (известно, что в такие дни жара бывает иногда еще несноснее, чем в ясные, особенно когда нет ветра), дремал и покачивался, с угрюмым терпением предавая всего себя на съедение мелкой, белой пыли, беспрестанно поднимавшейся с выбитой дороги из-под разошедшихся и дребезжавших колёс, как вдруг внимание моё было возбуждено необыкновенным беспокойством и тревожными телодвижениями моего кучера, до этого мгновения еще крепче дремавшего, чем я. Он задёргал вожжами, завозился на облучке и начал покрикивать на лошадей, то и дело поглядывая куда-то в сторону. Я осмотрелся. Мы ехали по широкой распаханной равнине; чрезвычайно пологими, волнообразными раскатами сбегали в неё невысокие, тоже распаханые холмы; взор обнимал всего каких-нибудь пять вёрст пустынного пространства; вдали—небольшие берёзовые рощи своими округлённо-зубчатыми верхушками одни нарушали почти прямую черту небосклона. Узкие тропинки



тянулись по полям, пропадали в лощинах, вились по пригоркам, и на одной из них, которой в пятистах шагах впереди от нас приходилось пересекать нашу дорогу, различил я какой-то поезд. На него-то поглядывал мой кучер.

Это были похороны. Впереди, в телеге, запряжённой одной лошадкой, шагом ехал священник; дьячок сидел возле него и правил; за телегой четыре мужика, с обнажёнными головами, несли гроб, покрытый белым полотном; две бабы шли за гробом. Тонкий, жалобный голосок одной из них вдруг долетел до моего слуха; я прислушался: она голосила. Уныло раздавался среди пустых полей этот переливчатый, однообразный, безнадежно-скорбный напев. Кучер погнал лошадей: он желал предупредить этот поезд. Встретить на дороге покойника—дурная примета. Ему, действительно, удалось проскакать по дороге, прежде чем покойник успел добраться до неё; но мы еще не отъехали и ста шагов, как вдруг нашу телегу сильно толкнуло, она накренилась, чуть не завалилась. Кучер остановил разбежавшихся лошадей, махнул рукой и плюнул.

— Что там такое?—спросил я.

Кучер мой слез молча и не торопясь.

— Да что такое?

— Ось сломалась... перегорела,—мрачно отвечал он, и с таким негодованием поправил шлею на пристяжной, что та совсем покачнулась было на бок, однако, устояла, фыркнула, встряхнулась и преспокойно начала чесать себе зубом ниже колена передней ноги.

Я слез и постоял некоторое время на дороге, смутно предаваясь чувству неприятного недоумения. Правое колесо почти совершенно подвернулось под телегу и, казалось, с немим отчаянием поднимало кверху свою ступицу.

— Что теперь делать?—спросил я наконец.

— Вон кто виноват!—сказал мой кучер, указывая кнутом на поезд, который успел уже свернуть на дорогу и приближался к нам.—Уж я всегда это замечал,—продолжал он:—это примета верная—встретить покойника... Да.

И он опять обеспокоил пристяжную, которая, видя его нерасположение и суровость, решила остаться неподвижною и

только изредка и скромно помакивала хвостом. Я походил немного взад и вперёд и опять остановился перед колесом.

Между тем покойник нагнал нас. Тихо свернув с дороги на траву, потянулось мимо нашей телеги печальное шествие. Мы с кучером сняли шапки, раскланялись со священником, переглянулись с носильщиками. Они выступали с трудом; высоко поднимались их широкие груди. Из двух баб, шедших за гробом, одна была очень стара и бледна; неподвижные её черты, жестоко искажённые горестью, хранили выражение строгой, торжественной важности. Она шла молча, изредка поднося худую руку к тонким ввалившимся губам. У другой бабы, молодой женщины лет двадцати пяти, глаза были красны и влажны, и всё лицо опухло от плача; поровнявшись с нами, она перестала голосить и закрылась рукавом... Но вот покойник миновал нас, выбрался опять на дорогу, и опять раздалось её жалобное, надрывающее душу пение. Безмолвно проводив глазами мерно колымавшийся гроб, кучер мой обратился ко мне.

— Это Мартына-плотника хоронят,—заговорил он, —что с Рябой.

— А ты почему знаешь?

— Я по бабам узнал. Старая-то его мать, а молодая—жена.

— Он болен был, что ли?

— Да... горячка... Третьего дня за дохтуром посылал управляющий, да дома дохтура не застали... А плотник был хороший, зашибал маненько, а хороший был плотник. Вишь, баба-то его как убивается... Ну, да ведь известно: у баб слёзы-то некупленные. Бабы слёзы та же вода... Да.

И он нагнулся, пролез под поводом пристяжной и ухватился обеими руками за дугу.

— Однако,—заметил я,—что ж нам делать?

Кучер мой сперва упёрся коленом в плечо коренной, тряхнул раза два дугой, поправил седёлку, потом опять пролез под поводом пристяжной и, толкнув её мимоходом в морду, подошёл к колесу—подошёл и, не спуская с него взора, медленно достал из-под полы кафтана тавлинку, медленно вытащил за ремешок крышку, медленно всунул в тавлинку своих два толстых пальца

(и два-то едва в ней уместились), помял-помял табак, перекосясь заранее нос, понюхал с расстановкой, сопровождая каждый приём продолжительным кряхтением, и, болезненно щурясь и моргая прослезившимися глазами, погрузился в глубокое раздумье.

— Ну, что?—проговорил я наконец.

Кучер мой бережно вложил тавлинку в карман, надвинул шляпу себе на брови, без помощи рук, одним движением головы, и задумчиво полез на облучок.

— Куда же ты?—спросил я его не без изумления.

— Извольте садиться,—спокойно отвечал он и подобрал вожжи.

— Да как же мы поедем?

— Уж поедем-с.

— Да ось...

— Извольте садиться.

— Да ось сломалась...

— Сломалась-то она сломалась; ну, а до выселок доберёмся... шагом, то есть. Тут вот за рощей направо есть выселки: Юдиными прозываются.

— И ты думаешь, мы доедем?

Кучер мой не удостоил меня ответом.

— Я лучше пешком пойду,—сказал я.

— Как угодно-с...

И он махнул кнутом. Лошади тронулись.

Мы действительно добрались до выселков, хотя правое переднее колесо едва держалось и необыкновенно странно вертелось. На одном пригорке оно чуть-чуть не слетело; но кучер мой закричал озлобленным голосом, и мы благополучно спустились.

Юдины выселки состояли из шести низеньких и маленьких избушек, уже успевших скривиться набок, хотя их, вероятно, поставили недавно: дворы не у всех были обнесены плетнём. Въезжая в эти выселки, мы не встретили ни одной живой души; даже куриц не было видно на улице, даже собак; только одна чёрная, с куцым хвостом, торопливо выскочила при нас из совершенно высохшего корыта, куда её, должно быть, загнала жажда, и тотчас, без лая, опрорхнула бросилась под ворота.

Я зашёл в первую избу, отворил дверь в сени, окликнул хозяев, — никто не отвечал мне. Я кликнул ещё раз: голодное мяуканье кошки раздалось за другой дверью. Я толкнул её ногой: худая кошка шмыгнула мимо меня, сверкнув во тьме зелёными глазами. Я всунул голову в комнату, посмотрел: темно, дымно и пусто. Я отправился на двор, и там никого не было... В загородке телёнок промычал; хромой серый гусь отковылял немного в сторону. Я перешёл во вторую избу, — и во второй избе ни души. Я на двор...

По самой середине ярко освещённого двора, на самом, как говорится, припёке, лежал лицом к земле и накрывши голову армяком, как мне показалось, мальчик. В нескольких шагах от него, возле плохой тележки, стояла, под соломенным навесом, худая лошаёнка в оборванной сбруе. Солнечный свет, падая струями сквозь узкие отверстия обветшалога намета, пестрил небольшими светлыми пятнами её косматую красно-гнедую шерсть. Тут же, в высокой скворешнице, болтали скворцы, с спокойным любопытством поглядывая вниз из своего воздушного домика. Я подошёл к спящему, начал его будить...

Он поднял голову, увидел меня и тотчас вскочил на ноги... «Что, что надо? Что такое?» забормотал он спросонья.

Я не тотчас ему ответил: до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет пятидесяти, с маленьким смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими, едва заметными глазками и курчавыми, густыми чёрными волосами которые, как шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Всё тело его было чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего был необыкновенен и странен его взгляд.

— Что надо? — спросил он меня опять.

Я объяснил ему, в чём было дело, он слушал меня, не спуская с меня своих медленно моргавших глаз.

— Так нельзя ли нам новую ось достать? — сказал я наконец. — Я бы с удовольствием заплатил.

— А вы кто такие? Охотники, что ли? — спросил он, окинув меня взором с ног до головы.

— Охотники.



— Пташек небесных стреляете, небось?.. Зверей лесных?.. И не грех вам божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?

Странный старичок говорил очень протяжно. Звук его голоса также изумил меня. В нём не только не слышалось ничего дряхлого,—он был удивительно сладок, молод и почти женски нежен.

— Оси у меня нет,—прибавил он после небольшого молчания;—эта вот не годится (он указал на свою тележку), у вас, чай, телега большая.

— А в деревне найти можно?

— Какая тут деревня!.. Здесь ни у кого нет... Да и дома нет никого: все на работе. Ступайте,—промолвил он вдруг и лёг опять на землю.

Я никак не ожидал этого заключения.

— Послушай, старик,—заговорил я, коснувшись до его плеча,—сделай одолжение, помоги.

— Ступайте с богом! Я устал: в город ездил,—сказал он мне и потащил себе армяк на голову.

— Да сделай же одолжение,—продолжал я,—я... я заплачу.

— Не надо мне твоей платы.

— Да пожалуйста, старик...

Он приподнялся до половины и сел, скрестив свои тонкие ножки.

— Я бы тебя свёл, пожалуй, на ссечки<sup>1</sup>. Тут у нас купцы рощу купили,—бог им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, бог им судья. Там бы ты у них ось и заказал или готовую купил.

— И прекрасно!—радно воскликнул я.—Прекрасно! Пойдём.

— Дубовую ось, хорошую,—продолжал он, не поднимаясь с места.

— А далеко до тех ссечек?

— Три версты.

— Ну что ж! Мы можем на твоей тележке доехать.

<sup>1</sup> Срубленное место в лесу. (Прим. автора.)

— Да нет...

— Ну, пойдём,—сказал я,—пойдём, старик! Кучер нас на улице дожидается.

Старик неохотно встал и вышел за мной на улицу. Кучер мой находился в раздражённом состоянии духа: он собрался было попить лошадей, но воды в колодце оказалось чрезвычайно мало, и вкус её был нехороший, а это, как говорят кучера, первое дело... Однако при виде старика он осклабился, закивал головой и воскликнул:

— А, Касьянушка! Здорово!

— Здорово, Ерофей, справедливый человек!—отвечал Касьян унылым голосом.

Я тотчас сообщил кучеру его предложение; Ерофей объявил своё согласие и въехал на двор. Пока он, с обдуманной хлопотливостью, отпрягал лошадей, старик стоял, прислонясь плечом к воротам, и невесело посматривал то на него, то на меня. Он как будто недоумевал: его, сколько я мог заметить, не слишком радовало наше внезапное посещение.

— А разве и тебя переселили?—спросил его вдруг Ерофей, снимая дугу.

— И меня.

— Эки!—проговорил мой кучер сквозь зубы.—Знаешь, Марты-то, плотник... ты ведь рябовского Мартына знаешь?

— Знаю.

— Ну, он умер. Мы сейчас его гроб повстречали.

Касьян вздрогнул.

— Умер?—проговорил он и потупился.

— Да, умер. Что ж ты его не вылечил, а? Ведь ты, говорят, лечишь, ты лекарка.

Мой кучер, видимо, потешался, глумился над стариком.

— А это твоя телега, что ли?—прибавил он, указывая на неё плечом.

— Моя.

— Ну, телега... телега!...—повторил он и, взяв её за оглобли, чуть не опрокинул кверху дном.—Телега!.. А на чём же вы на ссечки поедете? В эти оглобли нашу лошадь не впряжёшь: наши лошади больше,—а это что такое?

— А не знаю,—отвечал Касьян,—на чём вы поедете; разве вот на этом животике,—прибавил он со вздохом.

— На этом-то?—подхватил Ерофей и, подойдя к Касьян-вой клячонке, презрительно ткнул её третьим пальцем правой руки в шею.—Ишь,—прибавил он с укоризной,—заснула, ворона!

Я попросил Ерофея заложить её поскорей. Мне самому захотелось съездить с Касьяном на ссечки: там часто водятся тетерева. Когда уже тележка была совсем готова и я кое-как вместе со своей собакой уже уместился на её покоробленном лубочном дне, и Касьян, сжавшись в комочек и с прежним унылым выражением на лице, тоже сидел на передней грядке,—Ерофей подошёл ко мне и с таинственным видом прошептал:

— И хорошо сделали, батюшка, что с ним поехали. Ведь он такой, ведь он юродивец, и прозвище-то ему: Блоха. Я не знаю, как вы понять-то его могли...

Я хотел было заметить Ерофею, что до сих пор Касьян мне казался весьма рассудительным человеком, но кучер мой тотчас продолжал тем же голосом:

— Вы только смотрите, того, туда ли он вас привезёт. Да ось-то сами извольте выбрать: поздоровее ось извольте взять. А что, Блоха,—прибавил он громко:—что, у вас хлебушком можно разжиться?

— Поищи; может, найдётся,—отвечал Касьян, дёрнул вожжами, и мы покатили.

Лошадка его, к истинному моему удивлению, бежала очень недурно. В течение всей дороги Касьян сохранял упорное молчание и на мои вопросы отвечал отрывисто и нехотя. Мы скоро доехали до ссечек, а там добрались и до конторы, высокой избы, одиноко стоявшей над небольшим оврагом, на скорую руку перехваченным плотиной и превращённым в пруд. Я нашёл в этой конторе двух молодых купеческих приказчиков, с белыми, как снег, зубами, сладкими глазами, сладкой и бойкой речью и сладко-плутоватой улыбочкой, сторговал у них ось и отправился на ссечки. Я думал, что Касьян останется при лошади, будет дожидаться меня, но он вдруг подошёл ко мне.

— А что, пташек стрелять идёшь?—заговорил он.—А?

— Да, если найду.

— Я пойду с тобой... Можно?

— Можно, можно.

И мы пошли. Вырубленного места было всего с версту. Я, признаюсь, больше глядел на Касьяна, чем на свою собаку. Недаром его прозвали Блохой. Его чёрная, ничем не прикрытая головка (впрочем, его волосы могли заменить любую шапку) так и мелькала в кустах. Он ходил необыкновенно проворно и словно всё подпрыгивал на ходу, беспрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за пазуху, бормотал себе что-то под нос и всё поглядывал на меня и на мою собаку, да таким пытливым, страшным взглядом. В низких кустах, «в мелочах», и на ссечках часто держатся маленькие серые птички, которые то и дело перемещаются с деревца на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок<sup>1</sup> полетел, чиликая, у него из-под ног,—он зачиликал ему вслед; жаворонок стал спускаться над ним, трепеща крылами и звонко распевая,—Касьян подхватил его песенку. Со мной он всё не заговаривал...

Погода была прекрасная, ещё прекрасней, чем прежде; но жарá всё не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся парусá. Их узорчатые края, пушистые и лёгкие, как хлопчатая бумага, медленно, но видимо изменялись с каждым мгновеньем: они таяли, эти облака, и от них не падало тени. Мы долго бродили с Касьяном по ссечкам. Молодые отпрыски, еще не успевшие вытянуться выше аршина, окружали своими тонкими, гладкими стебельками почерневшие, низкие пни; круглые губчатые наросты с серыми коймами, те самые наросты, из которых вываривают трут, лепились к этим пням; земляника пускала по ним свои розовые усики; грибы тут же тесно сидели семьями. Ноги беспрестанно путались и цеплялись в длинной траве, пресыщенной горячим солнцем; всюду рябило в глазах от резкого металлического сверкания молодых, красноватых листьев на деревьях; всюду пестрели голубые гроздья журавлиного гороху, золотые чашечки курной сле-

<sup>1</sup> Молодой перепел. (Прим. автора.)



поты, наполовину лиловые, наполовину жёлтые цветы Ивана-да-Марьи; кой-где, возле заброшенных дорожек, на которых следы колёс обозначались полосами красной мелкой травки, возвышались кучки дров, потемневших от ветра и дождя, сложенные саженьями; слабая тень падала от них косыми четвероугольниками,—другой тени не было нигде. Лёгкий ветерок то просыпался, то утихал: подует вдруг прямо в лицо и как будто разгряется,—всё весело зашумит, закивает и задвигается кругом, грациозно закачаются гибкие концы папоротников,—обрадуешься ему... но вот уж он опять замер, и всё опять стихло. Одни кузнечики дружно трещат, словно озлобленные,—и утомителен этот непрерывный, кислый и сухой звук. Он идёт к неотступному жару полудня; он словно рождён им, словно вызван им из расклевнённой земли.

Не наткнувшись ни на один выводок, дошли мы наконец до новых сечек. Там недавно срубленные осины печально тянулись по земле, придавив собою и траву и мелкий кустарник; на иных листья, еще зелёные, но уже мёртвые, вяло свешивались с неподвижных веток; на других они уже засохли и покоробились. От свежих золотисто-белых щепок, горами лежавших около ярко-влажных пней, веяло особенным, чрезвычайно приятным горьким запахом. Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры и по временам, торжественно и тихо, словно кланяясь и расширяя руки, спускалось кудрявое дерево...

Долго не находил я никакой дичи; наконец из широкого дубового куста, насквозь проросшего полынью, полетел коростель. Я ударил; он перевернулся на воздухе и упал. Услышав выстрел, Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнулся, пока я не зарядил ружья и не поднял коростеля. Когда же я отправился далее, он подошёл к месту, где упала убитая птица, нагнулся к траве, на которую брызнуло несколько капель крови, покачал головой, пугливо взглянул на меня... Я слышал постыдливо, как он шептал: «Грех!.. Ах, вот это грех!»

Жара заставила нас наконец войти в рощу. Я бросился под высокий куст орешника, над которым молодой, стройный клён красиво раскинул свои лёгкие ветки. Касьян присел на толстый конец срубленной берёзы. Я глядел на него. Листья слабо коле-

бались в вышине, и их жидко-зеленоватые тени тихо скользили взад и вперёд по его тщедушному телу, кое-как закутанному в тёмный армяк, по его маленькому лицу. Он не поднимал головы. Наскучив его безмолвием, я лёг на спину и начал любоваться мирной игрой перепутанных листьев на далёком светлом небе. Удивительно приятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть вверх! Вам кажется, что вы смотрите в бездонное море, что оно широко расстилается под вами, что деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются, отвесно падают в те стекляннo-ясные волны; листья на деревьях то сквозят изумрудами, то сгущаются в золотистую, почти чёрную зелень. Где-нибудь, далёко-далеко, оканчивая собою тонкую ветку, неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного неба, и рядом с ним качается другой, напоминая своим движением игру рыбьего плёса, как будто движение то самовольное и не производится ветром. Волшебными подводными островами тихо наплывают и тихо проходят белые круглые облака,—и вот, вдруг всё это море, этот лучезарный воздух, эти ветки и листья, облитые солнцем,—всё заструится, задрожит беглым блеском, и поднимется свежее, трепещущее лепетание, похожее на бесконечный мелкий плеск внезапно набежавшей зыби. Вы не двигаетесь—вы глядите: и нельзя выразить словами, как радостно, и тихо, и сладко становится на сердце. Вы глядите—та глубокая, чистая лазурь возбуждает на устах ваших улыбку, невинную, как она сама; как облака по небу, и как будто вместе с ними, медлительной вереницей проходят по душе счастливые воспоминания, и всё вам кажется, что взор ваш уходит дальше и дальше и тянет вас самих за собой в ту спокойную, сияющую бездну, и невозможно оторваться от этой вышины, от этой глубины...

— Барин, а барин!—промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом.

Я с удивлением приподнялся: до сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил.

— Что тебе?—спросил я.

— Ну, для чего ты пташку убил?—начал он, глядя мне прямо в лицо.

— Как для чего?.. Коростель—это дичь: его есть можно

— Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть  
Ты его для потехи своей убил.

— Да ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например ешь?

— Та птица—богом определённая для человека, а коростель—птица вольная, лесная. И не он один: много её, всякой лесной твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низкорой—и грех её убивать, и пускай она живёт на земле до своего предела... А человеку пища положена другая; пища ему другая и другое питьё: хлеб—божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов.

Я с удивлением поглядел на Касьяна. Слова его лились свободно; он не искал их, он говорил с тихим одушевлением и кроткою важностью, изредка закрывая глаза.

— Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать?—спросил я.

— У рыбы кровь холодная,—возразил он с уверенностью,—рыба тварь немая. Она не боится, не веселится; рыба тварь бессловесная. Рыба не чувствует. В ней и кровь не живая. Кровь,—продолжал он, помолчав,—святое дело кровь! Кровь солнышка божия не видит, кровь от свету прячется... великий грех показать свету кровь,—великий грех и страх... Ох, великий!

Он вздохнул и потупился. Я, признаюсь, с совершенным изумлением посмотрел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей—речью: так не говорят простолудины, и краснобай так не говорят. Этот язык, обдуманно-торжественный и странный... Я не слышал ничего подобного.

— Скажи, пожалуйста, Касьян,—начал я, не спуская глаз с его слегка раскрасневшегося лица,—чем ты промышляешь?

Он не тотчас ответил на мой вопрос. Его взгляд беспокойно забегал на мгновенье.

— Живу, как господь велит,—промолвил он наконец,—а чтобы, то есть, промышлять—нет, ничем не промышляю. Неразумын я больно, с малства; работаю пока мочно,—работник-то я плохой... где мне! Здоровья нет и руки глупы. Ну, весной соловьёв ловлю.

— Соловьёв ловишь?.. А как же ты говорил, что всякую лесную и полевою и прочую там тварь не надо трогать?

— Убивать её не надо, точно; смерть и так своё возьмёт. Вот хоть бы Мартын-плотник: жил Мартын-плотник, и недолго жил, и помер; жена его теперь убивается о муже, о детках малых... Против смерти ни человеку, ни твари не случивить. Смерть и не бежит, да от неё не убежишь; да помогать ей не должно... А я соловушек не убиваю,—сохрани господи! Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье.

— Ты в Курск их ловить ходишь?

— Хожу я и в Курск; и подале хожу, как случится. В болотах ночую да в залесьях, в поле ночую один, во глуши: тут кулички расшвистятся, тут зайцы кричат, тут селезни стрекочут... По вечерочкам замечаю, по утренничкам выслушиваю, по зорям обсыпаю сеткой кусты... Иной соловушко так жалостно поёт, сладко... жалостно даже.

— И продаёшь ты их?

— Отдаю добрым людям.

— А что ж ты ещё делаешь?

— Как делаю?

— Чем ты занят?

Старик помолчал.

— Ничем я эдак не занят... работник я плохой. Грамоте, однако, разумею.

— Ты грамотный?

— Разумею грамоте. Помог господь да добрые люди.

— Что, ты семейный человек?

— Нетути, бессемейный.

— Что так?.. Перемёрли, что ли?

— Нет, а так: задачи в жизни не вышло. Да это всё под богом, все мы под богом ходим; а справедлив должен быть человек,—вот что! Богу угоден, то есть.

— И родни у тебя нет?

— Есть... да... так...

Старик замялся.

— Скажи, пожалуйста,—начал я:—мне послушайтесь, мой



кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?—

— Кучер твой справедливый человек,—задумчиво отвечал мне Касьян,—а тоже не без греха. Лекаркой меня называют.. Какая я лекарка!.. И кто может лечить? Это всё от бога. И лечить только можно от бога. А есть... есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже; об них и говорить не зазорно: чистые травки—божие. Ну, а другие не так: и помогают-то они, а грех; и говорить о них грех. Еще с молитвой разве... Ну, конечно, есть и слова такие... А кто верует—спасётся,—прибавил он, понизив голос.

— Ты ничего Мартыну не давал?—спросил я.

— Поздно узнал,—отвечал старик.—Да что! Кому как на роду написано. Не жилец был плотник Мартын, не жилец на земле: уж это так. Нет, уж какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок,—словно что его отзывает... Да; упокой господь его душу!

— Давно вас переселили к нам?—спросил я после небольшого молчания.

Касьян встрепенулся.

— Нет, недавно: года четыре. При старом барине мы всё жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник,—царство ему небесное! Ну, опека, конечно, справедливо рассудила; видно, уж так пришлось.

— А вы где прежде жили?

— Мы с Красивой Мечи.

— Далеко это отсюда?

— Вёрст сто.

— Что ж, там лучше было?

— Лучше... лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше, а здесь теснота, сухмень... Здесь мы осиротели. Там у нас, на Красивой-то на Мечи, взойдёшь ты на холм, взойдёшь—и господи боже мой, что это? А?.. И река-то, и луга, и лес; а там церковь, а там опять пощли луга. Далече видно,

далече. Вот как далеко видно... Смотришь, смотришь, ах ты, право! Ну, здесь точно земля лучше: суглинок, хороший суглинок, говорят крестьяне; да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится.

— А что, старик, скажи правду, тебе, чай, хочется на родине-то побывать?

— Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что! Много, что ли, дома-то высидишь? А вот, как пойдёшь, как пойдёшь,—подхватил он, возвысив голос,—и полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и богу-то ты видней, и поётся-то ладнее. Тут, смотришь,—трава какая растёт; ну, заметишь—сорвёшь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник: святая вода; ну, напьёшься— заметишь тоже. Птицы поют небесные... А то за Курском пойдут степи, эдакие степные места, вот удивленье, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот божия-то благодать! И идут они, люди сказывают, до самых тёплых морей, где живёт птица Гамаюн сладкогласная, и с дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью, и яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живёт всяк человек в довольстве и справедливости... И вот уж я бы туда пошёл... Ведь я мало ли куда ходил! И в Ромён ходил, и в Сибирск—славный-град, и в самую Москву—золотые-маковки; ходил на Оку-кормилицу, и на Цну-голубку, и на Волгу-матушку, и много людей видал, добрых хрестьян, и в городах побывал честных... Ну вот, пошёл бы я туда... и вот... и уж и... И не один я, грешный... много других хрестьян в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут... да!.. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет,— вот оно что...

Эти последние слова Касьян произнёс скороговоркой, почти невнятно; потом он ещё что-то сказал, чего-я даже расслышать не мог, а лицо его такое странное приняло выражение, что мне невольно вспомнилось название «ородивца». Он потупился, откашлянулся и как будто пришёл в себя.

— Эко солнышко!—промолвил он вполголоса.—Эка благодать, господи! Эка теплынь в лесу!

Он повёл плечами, помолчал, рассеянно глянул и запел

потихоньку. Я не мог уловить всех слов его протяжной песенки; следующие послышались мне:

А зовут меня Касьяном,  
А по прозвищу Блоха...

«Э!—подумал я.—Да он сочиняет...»

Вдруг он вздрогнул и умолк, пристально всматриваясь в чашу паса. Я обернулся и увидел маленькую крестьянскую девочку, лет восьми, в синем сарафанчике, с клетчатым платком на голове и плетённым кузовком на загорелой голенькой руке. Она, вероятно, никак не ожидала нас встретить; как говорится, нагнулась на нас и стояла неподвижно в зелёной чаще орешника, на тенистой лужайке, пугливо поглядывая на меня своими чёрными глазами. Я едва успел разглядеть её; она тотчас нырнула за дерево.

— Аннушка! Аннушка! Подь сюда, не бойся!—крикнул старик ласково.

— Боюсь,—раздался тонкий голосок.

— Не бойся, не бойся, поди ко мне.

Аннушка молча покинула свою засаду, тихо обошла кругом,— её детские ножки едва шумели по густой траве,— и вышла из чащи подле самого старика. Это была девушка не восьми лет, как мне показалось сначала, по небольшому её росту, но тринадцати или четырнадцати. Все её тело было мало и худо, но очень стройно и ловко, а красивое личико поразительно сходно с лицом самого Касьяна, хотя Касьян красавцем не был. Те же острые черты, тот же странный взгляд, лукавый и доверчивый, задумчивый и пронизательный, и движенья те же. Касьян окинул её глазами; она стояла к нему боком.

— Что, грибы собирала?—спросил он.

— Да, грибы,—отвечала она с робкой улыбкой.

— И много нашла?

— Много. (Она быстро глянула на него и опять улыбнулась.)

— И белые есть?

— Есть и белые.

— Покажь-ка, покажь... (Она спустила кузов с руки и

приподняла до половины широкий лист лопуха, которым грибы были покрыты.)—Э!—сказал Касьян, нагнувшись над кузовом.— Да какие славные! Ай да Аннушка!

— Это твоя дочка, Касьян, что ли?—спросил я. (Лицо Аннушки слабо вспыхнуло.)

— Нет, так, сродственница,—проговорил Касьян с притворной небрежностью.—Ну, Аннушка, ступай,—прибавил он тотчас,—ступай с богом. Да смотри...

— Да зачем же ей пешком итти!—прервал я его.—Мы бы её довели...

Аннушка загрелась, как маков цвет, ухватилась обеими руками за верёвочку кузова и тревожно поглядела на старика.

— Нет, дойдёт,—возразил он тем же равнодушно-ленивым голосом.—Что ей... Дойдёт и так... Ступай.

Аннушка проворно ушла в лес. Касьян поглядел за нею вслед, потом потупился и усмехнулся. В этой долгой усмешке, в немногих словах, сказанных им Аннушке, в самом звуке его голоса, когда он говорил с ней, была неизъяснимая, страстная любовь и нежность. Он опять поглядел в сторону, куда она пошла, опять улыбнулся и, потирая себе лицо, несколько раз покачал головой.

— Зачем ты её так скоро отослал?—спросил я его.— Я бы у неё грибы купил...

— Да вы там, всё равно, дома купите, когда захотите,—отвечал он мне, в первый раз употребляя слово «вы».

— А она у тебя прехорошенькая:

— Нет... какое... так...—ответил он, как бы нехотя, и с того же мгновенья впал в прежнюю молчаливость.

Видя, что все мои усилия заставить его опять разговориться оставались тщетными, я отправился на ссечки. Притом же и жара немного спала; но неудача, или, как говорят у нас, беда, моя продолжалась, и я с юдним коростелем и с новой осью вернулся в выселки. Уже подъезжая ко двору, Касьян вдруг обернулся ко мне.

— Барин, а барин,—заговорил он,—ведь я вилюват перед тобой; ведь это я тебе дичь-то всю отвёл.

— Как так?



— Да уж это я знаю. А вот и учёный пёс у тебя и хороший, а ничего не смог. Подумаешь, люди что, люди, а? Вот и зверь, а что из него сделали?

Я бы напрасно стал убеждать Касьяна в невозможности «заговорить» дичь и потому ничего не отвечал ему. Притом же мы тотчас повернули в ворота.

В избе Аннушки не было; она уже успела притти и оставить кузов с грибами. Ерофей приладил новую ось, подвергнув её сперва строгой и несправедливой оценке; а через час я выехал, оставив Касьяну немного денег, которые он сперва было не принял, но потом, подумав и подержав их на ладони, положил за пазуху. В течение этого часа он не произнёс почти ни одного слова; он попрежнему стоял, прислонясь к воротам, не отвечал на укоризны моего кучера и весьма холодно простился со мной.

Я, как только вернулся, успел заметить, что Ерофей мой снова находился в сумрачном расположении духа... И в самом деле, ничего съестного он в деревне не нашёл, водопой для лошадей был плохой. Мы выехали. С неудовольствием, выразившимся даже на его затылке, сидел он на козлах и страдал желал заговорить со мной, но в ожидании первого моего вопроса ограничивался лёгким ворчаньем вполголоса и поучительными, а иногда язвительными речами, обращёнными к лошадям. «Деревня!—бормотал он.—А ещё деревня! Спросил кошу кvasу—и кvasу нет... Ах ты, господи! А вода—просто тьфу! (Он плюнул вслух.) Ни огурцов, ни кvasу—ничего. Ну ты,—прибавил он громко, обращаясь к правой пристяжной:—я тебя знаю, потворница эдакая! Любишь себе потворствовать, небось.—(И он ударил её кнутом.) Совсем отлукавилась лошадь, а ведь какой прежде согласный был живот... Ну-ну, оглядывайся!»

— Скажи, пожалуйста, Ерофей,—заговорил я,—что за человек этот Касьян?

Ерофей не скоро мне отвечал: он вообще человек был обдумывающий и неторопливый; но я тотчас мог догадаться, что мой вопрос его развеселил и успокоил.

— Блоха-то?—заговорил он наконец, передёрнув вожжами.— Чудной человек: как есть юридивец; такого чудного человека

и не скоро найдёшь другого. Ведь, например, ведь он ни дать ни взять наш вот саврасый: от рук отбился тоже... от работы, то есть. Ну, конечно, что он за работник,—в чём душа держится,—ну, а всё-таки... Ведь он сызмальства так. Сперва он со дядьями со своими в извоз ходил; они у него были троечные; ну, а потом, знать, наскучило—бросил. Стал дома жить, да и дома-то не усиживался: такой беспокойный,—уж точно блоха. Барин ему попался, спасибо, добрый—не принуждал. Вот он так с тех пор всё и болтается, что овца беспредельная. И ведь такой удивительный, бог его знает: то молчит, как пень, то вдруг заговорит,—а что заговорит, бог его знает. Разве это манер? Это не манер. Несобразный человек, как есть. Поёт, однако, хорошо. Эдак важно—ничего, шчего.

— А что, он лечит, точно?

— Какое лечит!.. Ну, где ему! Таковский он человек! Меня, однако, от золотухи вылечил... Где ему! Глупый человек, как есть,—прибавил он, помолчав.

— Ты его давно знаешь?

— Давно. Мы им по Сычовке соседи, на Красивой-то на Мени.

— А что эта, нам в лесу попалась девушка, Аннушка, что, она ему родня?

Ерофей посмотрел на меня через плечо и осклабился во весь рот.

— Хел!.. Да, сродни. Она сирота: матери у ней нету, да и неизвестно, кто её мать-то была. Ну, а должно быть, что сродственница: больно на него смахивает... Ну, живёт у него. Вострая девка, неча сказать; хорошая девка, и он, старый, в ней души не чаёт: девка хорошая. Да ведь он, вы вот не поверите, а ведь он, пожалуй, Аннушку-то свою грамоте учить вздумает. Ей-ей, от него это станется: уж такой он человек неабнакавенный. Непостоянный такой, несоразмерный даже... Э-э-э!—вдруг перервал самого себя мой кучер и, остановив лошадей, нагнулся набок и принялся нюхать воздух.—Никак гарью пахнет? Так и есть! Уж эти мне новые оси... А, кажется, на что мазал... Пойти водицы добыть: вот кстати и прудик.

И Ерофей медлительно слез с облучка, отвязал ведёрку, пошёл к пруду и, вернувшись, не без удовольствия слушал, как шипела втулка колеса, внезапно охваченная водой... Раз шесть приходилось ему на каких-нибудь десяти верстах обливать разгорячённую ось, и уже совсем завечерело, когда мы возвратились домой.

1851

## ХОРЬ И КАЛИНЫЧ

Кому случалось из Бодховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живёт в дрянных осиновых избёнках, ходит на барщину; торговлей не занимается; ест плохо, носит лапти; — калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел; торгует маслом и дёгтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханых полей, близ оврага, кое-как превращённого в грязный пруд. Кроме немногих ракут, всегда готовых к услугам, да двух-трёх тощих берёз, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе; крыши закиданы гнилой соломой... Калужская деревня, напротив, большей частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тёсом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не размётан и не вывалился наружу, не зовёт в гости всякую прохожую свинью... И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадь<sup>1</sup> исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет, в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки вёрст, и не перевелась ещё благородная

<sup>1</sup> «Площадями» называются в Орловской губернии большие сплошные массы кустов. Орловское наречие отличается вообще множеством своеобразных, иногда весьма метких, иногда довольно безобразных, слов и оборотов. (Прим. автора.)

птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья-куропатка своим порывистым взлётом веселит и пугает стрелка и собаку.

В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошёлся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушённым сердцем доверял своё горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть Пинну; заикался, называл свою собаку Астрономом; вместо однако говорил иначе и завёл у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба—грибами, макароны—порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.

В первый же день моего знакомства с г-ном Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.

— До меня вёрст пять будет,—прибавил он:—пешком идти далеко; зайдёте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)

— А кто такой Хорь?

— А мой мужик... Он отсюда близёхонько.

Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединённых заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень лет двадцати, высокий и красивый.



— А, Федя! Дома Хорь?—спросил его г-н Полутыкин.

— Нет. Хорь в город уехал,—отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов.—Тележку заложить прикажете?

— Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.

Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу перед тяжёлым образом в серебряном окладе теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между брёвнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтём пшеничного хлеба и с дюжиной солёных огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощёкий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» заметил Полутыкин. «Всё Хорьки,—подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо:—да еще не все; Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город.. Смотри же, Вася,—продолжал он, обращаясь к кучеру,—духом сомчи: барина везёшь. Только на толчках-то, смотри, погише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феде. «Подсадить Астронома!» торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принуждённо улыбающуюся собаку и положил её на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатали. «А вот это моя контора,—сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик.—Хотите зайти?»—«Извольте».—«Она теперь упряднена,—заметил он, слезая:—а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич,—проговорил г-н Полутыкин.—А где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бу-

тылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте,—сказал мне Полутыкин:—это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причём старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать,—заметил мой новый приятель.— В этой конторе я продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.

— Скажите, пожалуйста,—спросил я Полутыкина за ужином:—отчего у вас Хорь живёт отдельно от прочих ваших мужиков?

— А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришёл он к моему покойному батюшке, и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. «Да зачем тебе селиться на болоте?»—«Да уж так; только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уже не извольте, а оброк положите, какой сами знаете».—«Пятьдесят рублёв в год!»—«Извольте».—«Да без недоимок у меня, смотри!»—«Известно, без недоимок...» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.

— Ну, и разбогател?—спросил я.

— Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, а еще, я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: откупись, Хорь, эй откупись!.. А он, бестия, меня уверяет, что нечем: денег, дескать, нету... Да, как бы не так!..

На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!»—«Сейчас, батюшка, сейчас,—раздался голос со двора:— лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой, загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружьё, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники,

устранивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого весёлого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светлоголубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую клиновидную бороду. Ходил он не скоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства; но за барином наблюдал, как за ребёнком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свёл нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный тёплый мёд ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчёл и болтливый лепет листьев. Лёгкий порыв ветерка разбудил меня... Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, лёгким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч—добрый мужик,—сказал мне г-н Полутыкин:—усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его всё оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит... Какое уж тут хозяйство,—посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.

На другой день г-н Полутыкин пригужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик—лысый, низкого роста, плечистый и плотный—сам Хорь. Я с любопытством посмотрел

на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принёс мне молока с чёрным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал своё достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеиваясь из-под длинных своих усов.

Мы с ним толковали о посевах, об урожае, о крестьянском быте... Он со мной всё как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то... Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть из осторожности... Вот вам образчик нашего разговора:

— Послушай-ка, Хорь,—говорил я ему:—отчего ты не откупишься от своего барина?

— А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю... барин у нас хороший.

— Всё же лучше на свободе,—заметил я.

Хорь посмотрел на меня сбоку.

— Вестимо,—проговорил он.

— Ну, так отчего же ты не откупаешься?

Хорь покрутил головой.

— Чем, батюшка, откупиться прикажешь?

— Ну, полно, старина...

— Попал Хорь в вольные люди,—продолжал он вполголоса, как будто про себя:—кто без бороды живёт, тот Хорю и набольший.

— А ты сам бороду сбрей.

— Что борода? Борода—травка: скосить можно.

— Ну, так что ж?

— А, знать, Хорь прямо в купцы попадёт; купцы-то жизнь хорошая, да и те в бородах.

— А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься?—спросил я его.



— Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком... Что же тележку, батушка, прикажешь заложить?

«Крепок ты на язык и человек себе на уме»,—подумал я.

— Нет,—сказал я вслух:—тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.

— Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы!—вскричал он, поднимаясь с места.—Сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.

Четверть часа спустя Федя с фонарём проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь закрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на неё зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать... Я наконец задремал.

На заре Федя разбудил меня. Этот весёлый, бойкий паренёк очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провёл ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошёлся со мной.

— Самовар тебе готов,—сказал он мне с улыбкой:—пойдём чай пить.

Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочерёдно входили в избу.

— Что у тебя за рослый народ!—заметил я старику.

— Да,—промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару:—на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.

— И все с тобой живут?

— Все. Сами хотят, так и живут.

— И все женаты?

— Вот один, пострел, не женится,—отвечал он, указывая на Федю, который попрежнему прислонился к двери.—Васька, тот ещё молод, тому погодить можно.

— А что мне жениться?—возразил Федя.—Мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?

— Ну, уж ты... уж я тебя знаю! Кольца серебряные носишь... Тебе бы всё с дворовыми девками нюхаться... «Полноте, бесстыдники!»—продолжал старик, передразнивая горничных...— Уж я тебя знаю, белоручка ты эдакий!

— А в бабе-то что хорошего?

— Баба—работница,—важно заметил Хорь.—Баба мужику слуга.

— Да на что мне работница?

— То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.

— Ну, жени меня, коли так. А? Что! Что ж ты молчишь?

— Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось!... А ты, батюшка, не гневись: дитяtko, видишь, малое, разуму не успело набраться.

Федя покачал головой...

— Дома Хорь?—раздался за дверью знакомый голос, и Калиныч вошёл в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.

Я в этот день пошёл на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провёл у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непришудленно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля несколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-

как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьём, как бойкий фабричный человек... Но Калиныч был одарён преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, иснуг, бешенство, выгонял червей; пчёлы ему дались, рука у него была лёгкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новополученную лошадь, и Калиныч с добросовестной важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же—к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например: из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продаёт косы. На наличные деньги он берёт рубль двадцать пять копеек—полтора рубля ассигнациями; в долг—три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овёс только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идёт с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние: их лишали удовольствия щёлкать по косе, прислушиваться, перевёртывать её в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются

юрлами». Такой «орёл» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил своё имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орёл» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьём угадывают его приближение и крадутся к нему навстречу. Вторых совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдаёт «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную понёву. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки»,—важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, наострились и при малейшем подозрении, при одном отдалённом слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И, в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело,—и они её точно продают—не в городе, в город надо самим тащиться,—а приедем торгошам, которые, за именем безмена, считают пуд в сорок горстей,—а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно, когда он «усердствует»! Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живальи» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не всё рассказывал, он сам меня спрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось... Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал всё по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка,—как же?..» —«А! Ах, господи, твоя воля!» восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо—это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, ни-



как не ожидают читатели,—убеждение, что Пётр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он непрочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперёд. Что хорошо—то ему и нравится, что разумно—того ему и подавай, а откуда оно идёт—ему всё равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотить, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал своё положение. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познания были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч—умел. «Этому шалопаю грамота далась,—заметил Хорь:—у него и пчёлы отродясь не мёрли». «А детей ты своих выучил грамоте»? Хорь помолчал. «Федя знает»—«А другие?»—«Другие не знают».—«А что?» Старик не отвечал и переменял разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в весёлый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на неё внимания, но невесток она содержала в страхе божьем. Недаром в русской песенке свекровь поёт: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьёшь ты жены, не бьёшь молодой...» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими... пустяками заниматься,—пускай бабы ссорятся... Их что разнимать—то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» и била её по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однакоже, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело до

ходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьёт?» возражал тот. «Эка, сапоги!.. На что мне сапоги? Я мужик...» — «Да вот и я мужик, а вишь...» При этом слове Хорь подымал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, — то лапти». — «Он мне даёт на лапти». — «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причём его маленькие глазки исчезали совершенно:

Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю... Зато в другое время не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается — телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильём пахнуть».

— Посмотри-ка, — возразил я ему, — как у Калиныча на пашке чисто.

— Пчёлы бы жить не стали, батюшка, — сказал он со вздохом.

«А что, — спросил он меня в другой раз: — у тебя своя вотчина есть?» — «Есть». — «Далеко отсюда?» — «Вёрст сто». — «Что же, ты, батюшка, живёшь в своей вотчине?» — «Живу». — «А больше, чай, ружьём пробавляешься?» — «Признаться, да». — «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов, да старосту меняй почаще».

На четвёртый день, вечером, г-н Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться со стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, — сказал я. — Прощай, Федя». — «Прощай, батюшка, прощай, не забывай

нас». Мы поехали. Заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдёт,—возразил мне Калиныч:—утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и всё глядел да глядел на зарю...

На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.

1847

## ПЕВЦЫ

### *Отрывок*

...Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное лёгкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл своё лицо—оно было бледно, как у мёртвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. Он глубоко вздохнул и запел... Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принёсся откуда-то издалёка, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Ивановича так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твёрдый и протяжный, но всё еще, видимо, дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебанием, за вторым—третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песнь. «Не одна во поле дороженька пролегалась, пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нём была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и

дышала в нём, и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более—он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжело шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянию зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу; я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слёзы; глухие, сдержанные рыдания внезапно поразили меня... я оглянулся—жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на неё быстрый взгляд и залился ещё звонче, ещё слаще прежнего. Николай Иванович потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шопотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно прокатилась тяжёлая слеза; рядчик поднёс сжатый кулак ко лбу и не шевелился... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке—словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он ещё петь; но он раскрыл глаза, словно удивлённый нашим молчанием, вопрошающим взором обвёл всех кругом и увидел, что победа была его...



## ЛЕС И СТЕПЬ

...И понемногу начало назад  
Его тянуть: в деревню, в тёмный сад,  
Где липы так огромны, так тенисты,  
И ландыши так девственно душисты,  
Где круглые ракиты над водой  
В плотины наклонились чередой,  
Где тучный дуб растёт над тучной вивой,  
Где пахнет конопелью да крапивой...  
Туда, туда, в раздольные поля,  
Где бархатом чернеется земля,  
Где рожь, куда ни киньте вы глазами,  
Струится тихо мягкими волнами,  
И падает тяжёлый, жёлтый луч  
Из-за прозрачных, белых, круглых туч.  
Там хорошо...

*(Из поэмы, преданной сожжению)*

Читателю, может быть, уже наскучили мои Записки; спешу успокоить его обещанием ограничиться напечатанными отрывками; но, расставаясь с ним, не могу не сказать несколько слов об охоте.

Охота с ружьём и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали встарину; но, положим, вы не родились охотником; вы всё-таки любите природу и свободу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату... Слушайте.

Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо... На тёмносером небе кой-где мигают звёзды; влажный ветерок изредка набегаёт лёгкой волной; слышится сдержанный, неясный шопот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Вот кладут ковёр на телегу, ставят в ноги ящик с самоваром. Пристяжные ёжатся, фыркают и щеголевато переступают ногами; пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. За плетнём, в саду, мирно похрапывает сторож; каждый звук словно стоит в застывшем воздухе, стоит и не проходит. Вот вы сели; лошади разом тронулись, громко застучала телега... Вы едете—едете мимо церкви, с горы направо, через плотину... Пруд едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закры-

ваете лицо воротником шинели; вам дремлетя. Лошади звучно шлёпают ногами по лужам; кучер посвистывает. Но вот вы отъехали версты четыре... край неба алеет; в берёзах просыпаются, пеловко перелётывают галки; воробьи чирикают около тёмных скирд. Светлеет воздух, видней дорога, яснее небо, белеют тучки, зеленеют поля. В избах красным огнём горят лучины, за воротами слышны заспанные голоса. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул,—и тихо всплывает багровое солнце. Свет так и хлынет потоком; сердце в вас встрепенётся, как птица. Свежо, весело, любо! Далеко видно кругом. Вон за рощей деревня; вон подальше другая, с белой церковью, вон берёзовый лесок на горе; за ним болото, куда вы едете... Живее, кони, живее! Крупной рысью вперёд... Версты три осталось, не больше. Солнце быстро поднимается; небо чисто... Погода будет славная. Стадо потянулось из деревни к вам навстречу. Вы взобрались на гору... Какой вид! Река вьётся вёрст на десять, тускло синя сквозь туман; за ней водянисто-зелёные луга; за лугами пологие холмы; вдали чибисы с криком выются над болотом; сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль... не то, что летом. Как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны!..

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? Зелёной чертой ложится след ваших ног по росистой, побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст,—вас так и обдаст накопившимся тёплым запахом почвы; воздух весь напоён свежей горечью помыни, мёдом гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; еще свежо, но уже чувствуется близость жара. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца... Кой-где, разве, вдали желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Вот заскрипела телега; шагом пробирается мужик, ставит заранее лошадь в тень... Вы поздоровались с ним, отошли—звучный лязг косы раздаётся за вами. Солнце всё выше и выше. Быстро сохнет трава. Вот уже жарко

стало. Проходит час, другой... Небо темнеет по краям; колючим зноем пышет неподвижный воздух. «Где бы, брат, тут напиться?» спрашиваете вы у косаря. «А вон в овраге колодезь». Сквозь густые кусты орешника, перепутанные цепкой травой, спускаетесь вы на дно оврага. Точно: под самым обрывом таится источник; дубовый куст жадно раскинул над водою свои лапчатые сучья; большие серебристые пузыри, колыхаясь, поднимаются со дна, покрытого мелким бархатным мохом. Вы бросаетесь на землю, вы напилесь, но вам лень пошевеливаться. Вы в тени, вы дышите пахучей сыростью; вам хорошо, а против вас кусты раскаляются и словно желтеют на солнце. Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы выходите из оврага... Что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? Туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растёт: передний её край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, всё вдруг потемнело... Скорей! Вон, кажется, виднеется северной сарай... скорее! Вы добежали, вошли.. Каков дождик? Каковы молнии? Кой-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает всё кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!..

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, тёплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синее небо; отдельные тени исчезают, воздух наливается мглою. Пора домой, в деревню, в избу, где вы почувёте. Закинув ружьё за плечи, быстро идёте вы, несмотря на усталость... А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над чёрными кустами край неба смутно яснеет.. Что это? Пожар?.. Нет, это восходит

дуна. А вон внизу, направо, уже мелькают огоньки деревни... Вот наконец и ваша изба. Сквозь окошко видите вы стол, покрытый белой скатертью, горящую свечу, ужин...

А то велишь заложить беговые дрожки и поедешь в лес на рябчиков. Весело пробираться по узкой дорожке, между двумя стенами высокой ржи. Колосья тихо бьют вас по лицу, васильки цепляются за ноги, перепела кричат кругом, лошадь бежит ленивой рысью. Вот и лес. Тень и тишина. Статные осины высоко лепечут над вами; длинные, висячие ветки берёз едва шевелятся; могучий дуб стоит, как боец, подле красной липы. Вы едете по зелёной, испещрённой тенями дорожке; большие жёлтые мухи неподвижно висят в золотистом воздухе и вдруг отлетают; мошки вьются столбом, светлея в тени, темнея на солнце; птицы мирно поют. Золотой голосок малиновки звучит невинной, болтливой радостью: он идёт к запаху ландышей. Далее, далее, глубже в лес... Лес гложет... Неизъяснимая тишина западает в душу; да и кругом так дремотно и тихо. Но вот ветер набежал, и зашумели верхушки, словно падающие волны. Сквозь прошлогоднюю бурю листву кой-где растут высокие травы; грибы стоят отдельно под своими шляпками. Беляк вдруг выскочит, собака с звонким лаем помчится вслед...

И как этот же самый лес хорош поздней осенью, когда прилетают вальдшнепы! Они не держатся в самой глуши: их надобно искать вдоль опушки. Ветра нет, и нет ни солнца, ни света, ни тени, ни движенья, ни шума; в мягком воздухе разлит осенний запах, подобный запаху вина; тонкий туман стоит вдали над жёлтыми полями. Сквозь обнажённые, бурые сучья деревьев мирно белеет неподвижное небо; кой-где на липах висят последние, золотые листья. Сырая земля упруга под ногами; высокие сухие былинки не шевелятся; длинные нити блестят на побледневшей траве. Спокойно дышит грудь, а на душу находит странная тревога. Идёшь вдоль опушки, глядишь за собакой, а между тем любимые образы, любимые лица, мёртвые и живые, приходят на память, давным-давно заснувшие впечатления неожиданно просыпаются; воображение реет и носится, как птица, и всё так ясно движется и стоит перед глазами. Сердце то вдруг задрожит и забьётся, страстно бросится вперёд, то безвозвратно по-



тонет в воспоминаниях. Вся жизнь развёртывается легко и быстро, как свиток; всем своим прошедшим, всеми чувствами, силами, всей своей душою владеет человек. И ничего кругом ему не мешает—ни солнца нет, ни ветра, ни шума...

А осенний, ясный, немножко холодный утром морозный день, когда берёза, словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледноглубом небе, когда низкое солнце уже не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще белеет на дне долины, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие покоробленные листья; когда по реке радостно мчатся синие волны, тихо вздымая рассеянных гусей и уток, вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней...

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как тихо, как невыразимо тихо всё кругом! Всё проснулось, и всё молчит. Вы проходите мимо дерева—оно не шелохнётся: оно нежится. Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеет перед вами длинная полоса. Вы принимаете её за близкий лес; вы подходите—лес превращается в высокую грядку польны на меже. Над вами, кругом вас—всюду туман... Но вот ветер слегка шевельнётся—кочок бледноглубого неба смутно выступит сквозь редующий, словно задымившийся пар, золотисто-жёлтый луч ворвётся вдруг, заструится длинным потоком, ударит по полям, упрётся в рощу,—и вот опять всё заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет наконец восторжествует и последние волны согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой нежно-сияющей вышине...

Но вот вы собрались в отъездное поле, в степь. Вёрст десять пробирались вы по просёлочным дорогам—вот наконец большая. Мимо бесконечных обозов, мимо постоянных двориков с шипящим самоваром под навесом, раскрытыми настежь воротами и колодезем, от одного села до другого, через необозримые поля вдоль

зелёных конопляников, долго, долго едете вы. Сороки перелетают с ракиты на ракиту; бабы, с длинными граблями в руках, бредут в поле; прохожий человек в поношенном нанковом кафтане, с котомкой за плечами, плетётся усталым шагом; грузная помещицья карета, запряжённая шестериком рослых и разбитых лошадей, плывёт вам навстречу. Из окна торчит угол подушки, а на запятках, на кульке, придерживаясь за верёвочку, сидит боком лакей в шинели, забрызганный до самых бровей. Вот уездный городок с деревянными кривыми домишками, бесконечными заборами, купеческими необитаемыми каменными строениями, старинным мостом над глубоким оврагом... Далее, далее!.. Пошли степные места. Глянешь с горы—какой вид! Круглые, низкие холмы, распаханые и засеянные доверху, разбегаются широкими волнами; заросшие кустами овраги вьются между ними; продолговатыми островами разбросаны небольшие рощи; от деревни до деревни бегут узкие дорожки; церкви белеют; между лозниками сверкает речка, в четырёх местах перехваченная плотинами; далеко в поле гуськом торчат драхвы; старенький господский дом с своими службами, фруктовым садом и гумном приютился к небольшому пруду. Но далее, далее едете вы. Холмы всё мельче и мельче, деревья почти не видать. Вот она наконец—безграничная, необозримая степь!..

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться зелёным цветом неба над красноватым лесом!.. А первые весенние дни, когда кругом всё блестит и обрушается, сквозь тяжёлый пар талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом солнца, доверчиво поют жаворонки, и с весёлым шумом и рёвом из оврага в овраг клубятся потоки...

Однако—пора кончить. Кстати—заговорил я о весне; весной легко расставаться—весной и счастливых тянет вдаль... Прощайте, читатель; желаю вам постоянного благополучия.

## ЖИВЫЕ МОЩИ

Край родной долготерпенья —  
Край ты русского народа!

Ф. Тютчев

Французская поговорка гласит: «сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имея никакого пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том, что испытывает рыбак в хорошую, ясную погоду и насколько, в ненастное время, удовольствие, доставляемое ему обильной добычей, перевешивает неприятность быть мокрым. Но для охотника дождь — сущее бедствие. Именно такому бедствию подверглись мы с Ермолаем в одну из наших поездок за тетеревами в Белёвский уезд. — С самой утренней зари дождь не переставал. Уж чего-чего мы ни делали, чтобы от него избавиться! И резиновые плащики чуть не на самую голову надевали, и под деревья становились, чтобы поменьше капало... Непромокаемые плащики, не говоря уже о том, что мешали стрелять, пропускали воду самым бесстыдным образом; а под деревьями, точно, на первых порах как будто и не капало, но потом вдруг накопившаяся в листе влага прорывалась, каждая ветка обдавала нас как из дождевой трубы, холодная струйка забиралась под галстук и текла вдоль спинного хребта... А уж это последнее дело! как выразался Ермолай.

— Нет, Пётр Петрович, — воскликнул он наконец. — Этак нельзя!.. Нельзя сегодня охотиться. Собакам чучьё заливает; ружья осекаются... Тьфу! Задача!

— Что же делать? — спросил я.

— А вот что. — Поедемте в Алексеевку. Вы, может, не знаете — хуторок такой есть, — матушке вашей принадлежит; отсюда вёрст восемь. Переночуем там, а завтра...

— Сюда вернёмся?

— Нет, не сюда... Мне за Алексеевкой места известны... многим лучше здешних для тетеревов!

Я не стал расспрашивать моего верного спутника, зачем он не повёз меня прямо в те места, и в тот же день мы добрались до матушкина хуторка, существования которого я, признаться сказать, и не подозревал до тех пор. При этом

хуторке оказался флигелёк, очень ветхий, но не жилой и потому чистый; я провёл в нём довольно спокойную ночь.

На следующий день я проснулся ранёхонько. Солнце только что встало; на небе не было ни одного облачка; всё кругом блестело сильным двойным блеском: блеском молодых утренних лучей и вчерашнего ливня.—Пока мне закладывали таратайку, я пошёл побродить по небольшому, некогда фруктовому, теперь одичалому саду, со всех сторон обступившему флигелёк своей пахучей, сочной глушью. Ах, как было хорошо на вольном воздухе, под ясным небом, где трепетали жаворонки, откуда сыпался серебряный бисер их звонких голосов! На крыльях своих они, наверно, унесли капли росы, и песни их казались орошёнными росой. Я даже шапку снял с головы и дышал радостно—всей грудью... На склоне неглубокого оврага, возле самого плетня, виднелась пасека; узенькая тропинка вела к ней, извиваясь змейкой между сплошными стенами бурьяна и крапивы, над которыми высились, бог ведаёт откуда занесённые, остроконечные стебли тёмнозелёной конопли.

Я отправился по этой тропинке; дошёл до пасеки. Рядом с нею стоял плетёный сарайчик, так называемый амшаник, куда ставят улья на зиму. Я заглянул в полуоткрытую дверь: темно, тихо, сухо; пахнет мятой, Melissa. В углу приспособлены подмости, и на них, прикрытая одеялом, какая-то маленькая фигура... Я пошёл-было прочь...

— Барин, а барин! Пётр Петрович!—послышался мне голос, слабый, медленный и сильный, как шелест болотной осоки.

Я остановился.

— Пётр Петрович! Подойдите, пожалуйста!—повторил голос, Он доносился до меня из угла, с тех, замеченных мною, подмостков.

Я приблизился—и остолбенел от удивления. Передо мною лежало живое человеческое существо; но что это было такое?!

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая,—ни дать, ни взять—икона старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать,—только зубы белеют и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди жёлтых волос. У подбородка, на складке одеяла, движутся, медленно



перебирая пальцами, как палочками, две крошечных руки тоже бронзового цвета. Я вглядываюсь попристальнее: лицо не только не безобразное, даже красивое,—но страшное, необычайное. И тем страшнее кажется мне это лицо, что по нём, по металлическим его щекам, я вижу—силится... силится и не может расплыться улыбка.

— Вы меня не узнаете, барин?—прошептал опять голос; он словно испарялся из едва шевелившихся губ.—Да и где узнать!—Я—Лукерья... Помните, что хороводы у матушки у вашей, в Спасском, водила... помните, я еще запевалой была?

— Лукерья!—воскликнул я.—Ты ли это? Возможно ли?

— Я, да, барин,—я. Я—Лукерья.

Я не знал, что сказать, и как ошеломлённый глядел на это тёмное, неподвижное лицо с устремлёнными на меня светлыми и мертвыми глазами. Возможно ли? Эта мумия—Лукерья, первая красавица во всей нашей дворне,—высокая, полная, белая, румяная,—хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умица Лукерья, за которую ухаживали все наши молодые парни, по которой я сам втайне вздыхал, я—шестнадцатилетний мальчик!

— Помилуй, Лукерья,—проговорил я наконец:—что это с тобой случилось?

— А беда такая стряслась! Да вы не побрезгуйте, барин, не погнушайтесь несчастием моим,—сядьте вон на кадушечку—поближе, а то вам меня не слышно будет... вишь, я какая голо-систая стала!.. Ну, уж и рада же я, что увидела вас! Как это вы в Алексеевку попали?

Лукерья говорила очень тихо и слабо, но без остановки.

— Меня Ермолай-охотник сюда завёз. Но расскажи же ты мне...

— Про беду-то мою рассказать?—Извольте, барин.—Случилось это со мной уже давно, лет шесть или семь. Меня тогда только что помолвили за Василия Полякова—помните, такой из себя статный был, кудрявый,—еще буфетчиком у матушки у вашей служил? Да вас уже тогда в деревне не было; в Москву уехали учиться.—Очень мы с Василием слобились; из головы он у меня не выходил; а дело было весною. Вот, раз, ночью... уж и до зари недалеко... а мне не спится: соловей в саду

таковò удивительно поёт сладко!.. Не вытерпела я, встала и вышла на крыльцо его послушать. Заливается он, заливается... и вдруг мне почудилось: зовёт меня кто-то Васиным голосом, тихо так: Луша!.. Я глядь в сторону, да знать спросонья—оступилась, так прямо с рундучка и полетела вниз—да б-землю хлоп! И кажись, не сильно я расшиблась, потому—скоро поднялась и к себе в комнату вернулась. Только словно у меня что внутри—в утробе—порвалось... Дайте дух перевести... с минуточку... барин.

Лукерья умолкла, а я с изумлением глядел на неё. Изумляло меня собственно то, что она рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие.

— С самого того случая,—продолжала Лукерья:—стала я сохнуть, чахнуть: чернота на меня нашла; трудно мне стало ходить, а там уже—полно и ногами владеть; ни стоять, ни сидеть не могу; всё бы лежала. И ни пить, ни есть не хочется, всё хуже, да хуже. Матушка ваша, по доброте своей, и лекарям меня показывала, и в больницу посылала. Однако облегченья мне никакого не вышло. И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только ни делали: железом раскалённым спину жгли, в колотый лёд сажали—и всё ничего. Совсем я окостенела под-конец... Вот и порешили господа, что лечить меня больше нечего, а в барском доме держать калек неспособно... ну, и переслали меня сюда—потому тут у меня родственники есть. Вот я и живу, как видите.

Лукерья опять умолкла и опять силилась улыбнуться.

— Это, однакоже, ужасно, твое положение!—воскликнул я... и не зная, что прибавить, спросил:—а что же Поляков Василий? Очень глуп был этот вопрос.

Лукерья отвела глаза немного в сторону.

— Что Поляков?—Потужил, потужил—да и женился на другой, на девушке из Глинного. Знаете Глинное? От нас недалеко. Аграфеной её звали. Очень он меня любил,—да ведь человек молодой—не оставаться же ему холостым. И какая уж я ему могла быть подруга? А жену он нашёл себе хорошую,

добрую,—и детки у них есть. Он тут, у соседа, в приказчиках живёт: матушка ваша по пачпорту его отпустила, и очень ему, слава богу, хорошо.

— И так ты всё лежишь да лежишь?—спросил я опять.

— Вот так и лежу, барин, седьмой годок. Летом-то я здесь лежу, в этой плетушке, а как холодно станет—меня в предбанник перенесут. Там лежу.

— Кто же за тобой ходит? Присматривает кто?

— А добрые люди здесь есть тоже. Меня не оставляют. Да и ходьбы за мной немного. Есть-то, почитай, что не ем ничего, а вода—вои она, в кружке-то: всегда стоит припасённая, чистая, ключевая вода. До кружки-то я сама дотянуться могу: одна рука у меня еще действовать может. Ну, девочка тут есть, сиротка; нет, нет—да и наведается, спасибо ей. Сейчас тут была... Вы её не встретили? Хорошенькая такая, беленькая. Она цветы мне носит; большая я до них охотница, до цветов-то. Садовых у нас нет,—были, да перевелись. Но ведь и полевые цветы хороши; пахнут ещё лучше садовых. Вот, хоть бы ландыш... на что приятнее!

— И не скучно, не жутко тебе, моя бедная Лукерья?

— А что будешь делать? Лгать не хочу—сперва очень томно было; а потом привыкла, обтерпелась—ничего; иным ещё хуже бывает.

— Это каким же образом?

— А у иного и пристанища нет! А иной—слепой или глухой! А я, слава богу, вижу прекрасно и всё слышу, всё. Крот под землёю роется—я и то слышу. И запах я всякий чувствовать могу, самый какой ни на есть слабый! Гречиха в поле зацветёт или липа в саду—мне и сказывать не надо: я первая сейчас слышу. Лишь бы ветерком оттуда потянуло. Нет, что бога гневить?—многим хуже моего бывает. Хоть бы то взять: иной здоровый человек очень легко согрешить может; а от меня сам грех отошёл. Намеднись отец Алексей, священник, стал меня причащать, да и говорит: тебя, мол, исповедывать нечего: разве ты в твоём состоянии согрешить можешь?—Но я ему ответила: а мысленный грех, батюшка?—Ну, говорит, а сам смеётся—это грех не великий,

— Да, я, должно быть, и этим самым, мысленным грехом не больно грешна,—продолжала Лукерья:—потому, я так себя приучила: не думать, а пуще того—не вспоминать. Время скорей проходит.

Я, признаюсь, удивился.

— Ты всё одна да одна, Лукерья; как же ты можешь помешать, чтобы мысли тебе в голову не шли? Или ты всё спишь?

— Ой, нет, барин! Спать-то я не всегда могу. Хоть и больших болей у меня нет, а ноет у меня там, в самом нутре, и в костях тоже; не даёт спать, как следует. Нет... а так, лежу я себе, лежу-полёживаю—и не думаю; чую, что жива, дышу—и вся я тут. Смотрю, слушаю. Пчёлы на пасеке жужжат да гудят; голубь на крышу сядет и заворкует; курочка-наседочка зайдёт с цыплятами крошек поклевать; а то воробей залетит или бабочка—а мне очень приятно. В позапрошлом году так даже ласточки вон там, в углу, гнездо себе свили и детей вывели. Уж как же оно было занятно!—Одна влетит, к гнёздышку припадёт, деток накормит—и вон. Глядишь—уж на смену ей другая. Иногда, не влетит, только мимо раскрытой двери пронесётся, а детки тотчас—ну пищать, да клювы разевать... Я их на следующий год поджидала, да их, говорят, один здешний охотник из ружья застрелил. И на что покорыстился? Вся-то она, ласточка, не больше жука... Какие вы, господа охотники, злые!

— Я ласточек не стреляю,—поспешил я заметить.

— А то раз,—начала опять Лукерья,—вот смеху-то было! Заяц забежал, право! Собаки, что ли, за ним гнались, только он прямо в дверь как прикатит!.. Сел близёхонько—и долго-таки сидел,—всё носом водил и усами дёргал—настоящий офицер! И на меня смотрел. Понял, значит, что я ему не страшна. Наконец, встал, прыг-прыг к двери, на пороге оглянулся—да и был таков! Смешной такой!

Лукерья взглянула на меня... аль, мол, не забавно? Я, в угоду ей, посмеялся. Она покусала пересохшие губы.

— Ну, зимою, конечно, мне хуже: потому—темно: свечку зажечь жалко, да и к чему? Я хоть грамоте знаю и читать завсегда охоча была, но что читать? Книг здесь нет никаких,



да хоть бы и были, как я буду держать её, книгу-то? Отец Алексей мне, для рассеянности, принёс календарь, да видит, что пользы нет, взял, да унёс опять. Однако, хоть и темно, а всё слушать есть что: сверчок затрещит, али мышь где скрестись станет.—Вот тут-то хорошо: не думать!

— А то я молитвы читаю,—продолжала, отдохнув немного, Лукерья.—Только немного я знаю их, этих самых молитв. Да и на что я стану господу богу наскучать? О чём я его просить могу? Он лучше меня знает, чего мне надобно. Послал он мне крест—значит, меня он любит. Так нам велено это понимать. Прочту отче наш, богородицу, акафист всем скорбящим,—да и опять полёживаю себе безо всякой думочки. И ничего!

Прошло минуты две. Я не нарушал молчания и не шевелился на узенькой кадушке, служившей мне сиденьем. Жестокая, каменная неподвижность лежащего передо мною живого, несчастного существа сообщилась и мне: я тоже словно оцепенел.

— Послушай, Лукерья,—начал я, наконец.—Послушай, какое я тебе предложение сделаю. Хочешь, я распоряджусь: тебя в больницу перевезут, в хорошую, городскую больницу? Кто знает, быть может, тебя еще вылечат? Во всяком случае, ты одна не будешь...

Лукерья чуть-чуть двинула бровями.

— Ох, нет, барин,—промолвила она озабоченным шопотом,—не переводите меня в больницу, не трогайте меня. Я там только больше муки приму. Уж куда меня лечить!.. Вот так-то раз доктор сюда приезжал, осматривать меня захотел. Я его прошу: не тревожьте вы меня, Христа-ради. Куда! переворачивать меня стал, руки, ноги разминал, разгибал; говорит: это я для учёности делаю; на то я служащий человек, учёный! И ты, говорит, не моги мне противиться, потому что мне за мои труды орден на шею дан, и я для вас же, дураков, стараюсь. Потормошил, потормошил меня, назвал мне мою болезнь—мудрено такова—да с тем и уехал. А у меня потом целую неделю все косточки ныли. Вы говорите: я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смиренная—не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят; страшица забредёт, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно

одной быть. Даже лучше, ей-ей! Барин, не трогайте меня, не возите в больницу... Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.

— Ну, как хочешь, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал...

— Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин, милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдёт? Сам себе человек помогай! Вы, вот, не поверите—а лежу я иногда так-то одна... и словно никого в целом свете кроме меня нету. Только одна я—живая! И чудится мне, будто что меня осенит... Возьмёт меня размышление—даже удивительно!

— О чём же ты размышляешь, Лукерья?

— Этого, барин, тоже никак нельзя сказать: не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придёт словно как тучка, прольётся, свежо так, хорошо станет, а что такое было—не поймёшь! Только думается мне: будь около меня люди—ничего бы этого не было и ничего бы я не чувствовала, кроме своего несчастья.

Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась—так же, как и остальные члены.

— Как погляжу я, барин, на вас,—начала она снова:—очень вам меня жалко. А вы меня не слишком жалейте, право! Я вам, например, что скажу: я иногда и теперь... Вы ведь помните, какая я была в своё время весёлая? Бой-девка! так знаете что? Я и теперь песни пою.

— Песни?.. ты?

— Да, песни, старые песни, хороводные, подблюдные, святочные, всякие! Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моём звании—оно не годится.

— Как же ты поёшь их... про себя?

— И про себя, и голосом. Громко-то не могу, а всё—понять можно. Вот, я вам сказывала—девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот, я её выучила; четыре песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...

Лукерья собралась с духом... Мысль, что это полумёртвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде, чем я мог промолвить слово,—в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук... за ним

последовал другой, третий. «Во лузях» пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок, так хотелось ей всю душу вылить... Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце.

— Ох, не могу!—проговорила она вдруг:—силушки не хватает.. Очень уж я вам обрадовалась.

Она закрыла глаза.

Я положил руку на её крошечные, холодные пальчики... Она взглянула на меня—и её тёмные веки, опущённые золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение, они заблестали в полутьме... Слеза их смочила.

Я не шевелился попрежнему.

— Экая я!—проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу.—Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случилось... с самого того дня, как Поляков Вася у меня был, прошлой весной. Пока он со мной сидел, да разговаривал—ну, ничего; а как ушёл он—поплакала я-таки в одиночку! Откуда бралось! Да ведь у нашей сестры слёзы не купленные.—Барин,—прибавила Лукерья:—чай, у вас платочек есть... Не побрезгуйте, утрите мне глаза.

Я поспешил исполнить её желание—и платок ей оставил. Она сперва отказывалась... на что, мол, мне такой подарок? Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить её черты, мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу её лица, мог открыты в этом лице,—так, по крайней мере, мне казалось,—следы его бывалой красоты.

— Вот, вы, барин, спрашивали меня,—заговорила опять Лукерья:—сплю ли я? Сплю я, точно, редко, но всякий раз сны вижу,—хорошие сны! Никогда я большой себя не вижу: такая я всегда во сне здоровая да молодая... Одно горе: проснусь я—потянуться хочу хорошенько—ан я вся, как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился! Хотите, расскажу

вам?—Ну, слушайте.—Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая!.. И будто со мной собачка рыженькая, злощастная-презлющая—всё укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый как есть месяц, вот, когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать до-чиста. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла; а кругом васильки растут, да такие крупные! И все ко мне головками повернулись. И думаю я: нарву я этих васильков; Вася притти обещался—так вот, я себе веночек сперва совью; жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что! И не могу я себе веночек свить. А между тем я слышу—кто-то уж идёт ко мне, близко таковò, и зовёт: Луша! Луша!.. Ай, думаю, беда—не успела! Всё равно, надену я себе на голову этот месяц вместо васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник, и так сама сейчас вся засияла, всё поле кругом осветила. Глядь—по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорёхонько—только не Вася—а сам Христос! И почему я узнала, что это Христос—сказать не могу,—таким его не пишут,—а только он! Безбородый, высокий, молодой, весь в белом—только пояс золотой,—и ручку мне протягивает.—«Не бойся, говорит, невеста моя разубранная, ступай за мною; ты у меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские».—И я к его ручке как прильну!—Собачка моя сейчас меня за ноги... но тут мы взвильсь! Он впереди... Крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки,—и я за ним. И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка—болезнь моя и что в царстве небесном ей уже места не будет.

Лукерья умолкла на минуту.

— А то ещё видела я сон,—начала она снова:—а быть может, это было мне видение—я уж и не знаю. Почудилось мне, будто я в самой этой плетушке лежу и приходят ко мне мои покойные родители—батюшка да матушка—и кланяются мне низко, а сами ничего не говорят. И спрашиваю я их: зачем вы, батюшка и матушка, мне кланяетесь? А затем, говорят, что так как ты на сем свете много мучишься, то не одну ты свою



душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее. Со своими грехами ты уже покончила; теперь наши грехи побеждаешь. И сказавши это, родители мне опять поклонились—и не стало их видно: одни стены видны. Очень я потом сомневалась, что это такое со мною было. Даже батюшке на духу рассказала. Только он так полагает, что это было не видение, потому что видения бывают одному духовному чину.

— А то вот ещё какой мне был сон,—продолжала Лукерья.— Вижу я, что сижу я этак будто на большой дороге под ракитой, палочку держу оструганную, котомка за плечами и голова платком окутана—как есть странница! И итти мне куда-то далеко-далеко, на богомолье. И проходят мимо меня все странники; идут они тихо, словно нехотя, всё в одну сторону; лица у всех унылые, и друг на дружку все очень похожи. И вижу я: вьётся, мечется между ними одна женщина, целой головой выше других, и платье на ней особенное, словно не наше, не русское. И лицо тоже особенное, постное лицо, строгое. И будто все другие от неё сторонятся; а она вдруг верть—да прямо ко мне. Остановилась и смотрит; а глаза у ней, как у сокола, жёлтые, большие и светлые-пресветлые. И спрашиваю я её: кто ты?—А она мне говорит: «Я смерть твоя». Мне что бы испугаться, а я напротив—рада-радехонька, крещусь! И говорит мне та женщина, смерть моя: «Жаль мне тебя, Лукерья,—но взять я тебя с собой не могу. Прощай!» Господи! как мне тут грустно стало!.. «Возьми меня,—говорю,—матушка, голубушка, возьми!»—И смерть моя обернулась ко мне, стала мне выговаривать... Понимаю я, что назначает она мне мой час, да непонятно так, неясвенно... После, мол, Петровок... С этим я проснулась... Такие-то у меня бывают сны удивительные!

Лукерья подняла глаза кверху... задумалась...

— Только вот беда моя: случается, целая неделя пройдёт, а я не засну ни разу. В прошлом году барыня одна проезжала, увидела меня, да и дала мне скляночку с лекарством против бессонницы; по десяти капель приказала принимать. Очень мне помогало, и я спала; только теперь давно та скляночка выпита... Не знаете ли, что это было за лекарство и как его получить?

Проезжавшая барыня, очевидно, дала Лукерье опиума. Я обещался доставить ей такую скляночку и опять-таки не мог не подивиться вслух её терпенью.

— Эх, барин!—возразила она.—Что вы это? Какое такое терпение? Вот Симеона Столпника терпение было, точно, великое: тридцать лет на столбу простоял! А другой угодник себя в землю зарыть велел по самую грудь, и муравьи ему лицо ели... А то вот ещё мне сказывал один начётчик: была некая страча, и ту страну агаряне завоевали, и всех жителей они мучили и убивали; и что ни делали жители, освободить себя никак не могли. И проявись тут, между теми жителями, святая девственница; взяла она меч великий, латы на себя возложила двухпудовые, пошла на агарян и всех их прогнала за море. А только, прогнавши их, говорит им: теперь вы меня сожгите, потому что такое было моё обещание, чтобы мне огненной смертью за свой народ помереть.—И агаряне её взяли и сожгли, а народ с той поры навсегда освободился! Вот это подвиг! А я что!

Подивился я тут про себя, куда и в каком виде зашла легенда об Иоанне д'Арк, и, помолчав немного, спросил Лукерью: сколько ей лет?

— Двадцать восемь... али девять... Тридцати не будет. Да что их считать, года-то! Я вам ещё вот что доложу...

Лукерья вдруг как-то глухо кашлянула, охнула...

— Ты много говбришь,—заметил я ей;—это может тебе повредить.

— Правда,—прошептала она едва слышно;—разговорке нашей конец; да куда ни шло! Теперь, как вы уедете, намолчусь я вволю. По крайности, душу отвела...

Я стал прощаться с нею, повторил ей моё обещание прислать ей лекарство, попросил её ещё раз хорошенько подумать и сказать мне—не нужно ли ей чего?

— Ничего мне не нужно; всем довольна, слава богу,—с величайшим усилием, но умиленно произнесла она.—Дай бог всем здоровья! А вот, вам бы, барин, матушку вашу уговорить—крестьяне здешние бедные—хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет... Они бы за вас богу помолились... А мне ничего не нужно,—всем довольна.

Я дал Лукерье слово исполнить её просьбу и подходил уже к дверям... она подозвала меня опять.

— Помните, барин,—сказала она, и чудное что-то мелькнуло в её глазах и на губах:—какая у меня была коса? Помните—до самых колен! Я долго не решалась... Этакие волосы!.. Но где же их было расчёсывать? В моём-то положении!.. Так уж я их и обрезала... Да... Ну, простите, барин! Больше не могу...

В тот же день, прежде чем отправиться на охоту, был у меня разговор о Лукерье с хуторским десятским. Я узнал от него, что её в деревне прозывали «Живые Мощи», что, впрочем, от неё никакого не видать беспокойства: ни ропота от неё не слышать, ни жалоб.—«Сама ничего не требует, а напротив—за всё благодарна; тихоня, как есть тихоня, так сказать надо. Богом убитая,—так заключил десятский:—стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать её—нет, мы её не осуждаем. Пуцай её!»

Несколько недель спустя, я узнал, что Лукерья скончалась. Смерть пришла-таки за ней... и «после Петровок». Рассказывали, что в самый день кончины она всё слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считают пять вёрст с лишком и день был будничныи. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шёл не от церкви, а «сверху». Вероятно, она не посмела сказать: с неба.

ПОРОГ

сон

Я вижу громадное здание.

В передней стене узкая дверь раскрыта настежь; за дверью—  
угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка... Русская  
девушка.

Морозом дышит та непроглядная мгла; и вместе с ледящей  
струей выносятся из глубины здания медлительный, глухой го-  
лос:

«О ты, что желаешь переступить этот порог,—знаешь ли ты,  
что тебя ожидает?»

— Знаю,—отвечает девушка.

«Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида,  
тюрьма, болезнь и самая смерть?»

— Знаю.

«Отчуждение полное, одиночество?»

— Знаю... Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

«Не только от врагов, но и от родных, от друзей?»

— Да... и от них.

«Хорошо. Ты готова на жертву?»

— Да.

«На безыменную жертву? Ты погибнешь—и никто... ни-  
кто не будет даже знать, чью память почтить!..»

— Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне  
нужно имени.



«Готова ли ты на преступление?»

Девушка потупила голову...

— И на преступление готова.

Голос не тотчас возобновил свои вопросы.

«Знаешь ли ты,—заговорил он наконец,—что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?»

— Знаю и это. И всё-таки я хочу войти.

«Войди!»

Девушка перешагнула порог—и тяжёлая завеса упала за нею.

«Дура!» проскрежетал кто-то сзади.

«Святая!» пронеслось откуда-то в ответ.

Май 1878

## ПАМЯТИ Ю. П. ВРЕВСКОЙ

На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращённого в походный военный госпиталь, в разорённой болгарской деревушке—слишком две недели умирала она от тифа.

Она была в беспамятстве—и ни один врач даже не взглянул на неё; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах,—поочередно поднимались с своих заражённых логовищ, чтобы поднести к её запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка.

Она была молода, красива; высший свет её знал; об ней осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины за ней волочились... два-три человека тайно и глубоко любили её. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слёз.

Нежное, кроткое сердце... и такая сила, такая жажда жертвы!—Помогать нуждающимся в помощи... она не ведала другого счастья... не ведала—и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась—и, вся пылая огнём неугасимой веры, отдалась на служение ближним.

Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в

самом её тайнике—никто не знал никогда,—а теперь, конечно, не узнает.

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано.

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже её труп—хотя она сама и стыдилась, и чуждалась всякого спасибо.

Пусть же не оскорбится её милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на её могилу!

Сентябрь 1878

## ДВА БОГАЧА

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на призрение старых,—я хвалю и умиляюсь.

Но, и хваля и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном бедном крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разорённый домишко.

— Возьмём мы Катьку,—говорила баба,—последние наши гроши на неё пойдут, не на что будет соли добыть, похлёбку посолить...

— А мы её... и не солёную,—ответил мужик, её муж.

Далеко Ротшильду до этого мужика!

Июль 1878

## МЫ ЕЩЕ ПОВОЮЕМ!

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!

Полный раздумья, шёл я однажды по большой дороге.

Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь; унылость овладела мною.

Я поднял голову... Передо мною, между двух рядов высоких тополей, стрелою уходила вдаль дорога.

И через неё, через эту самую дорогу, в десяти шагах от

меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьёв, прыгала бойко, забавно, самонадеянно!

Особенно один из них так и надсаживал бочком, бочком, выпуча зоб и дерзко чирикавая, словно и чорт ему не брат! Завоеватель—и полно!

А между тем высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя.

Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся—и грустные думы тотчас отлетели прочь: отвагу, удачу, охоту к жизни почувствовал я.

И пускай надо мной кружит мой ястреб...

— Мы еще повоюем, чорт возьми!

Ноябрь 1879

## РУССКИЙ ЯЗЫК

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины—ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя—как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Июнь, 1882

## ОТЦЫ И ДЕТИ

### Отрывок

Однажды мужичок соседней деревни привёз к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лёжа ничком на связке соломы, несчастный умирал; тёмные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович изъясил сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, и объявил, что спасения нет. Действительно, мужичок не довёз своего брата до дома: он так и умер в телеге.

Дня три спустя Базаров вошёл к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня.

— Есть; на что тебе?

— Нужно... ранку прижечь.

— Кому?

— Себе.

— Как, себе! Зачем же это? Какая это ранка? Где она?

— Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся.

— Ну?

— Ну, вот я и попросил уездного врача; ну, и порезался.

Василий Иванович вдруг побледнел весь и, ни слова не говоря, бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти.



— Ради самого бога,—промолвил Василий Иванович,—позволь мне это сделать самому.

Базаров усмехнулся.

— Экой ты охотник до практики!

— Не шути, пожалуйста. Покажи свой палец. Ранка-то невелика. Не больно?

— Напирай сильнее, не бойся.

Василий Иванович остановился.

— Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом?

— Это бы раньше надо сделать, а теперь, по-настоящему, и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно.

— Как... поздно...—едва мог произнести Василий Иванович.

— Ещё бы! С тех пор четыре часа прошло с лишком.

Василий Иванович ещё немного прижёт ранку.

— Да разве у уездного лекаря не было адского камня?

— Не было.

— Как же это, боже мой! Врач—и не имеет такой необходимой вещи!

— Ты бы посмотрел на его лацеты,—промолвил Базаров и вышел вон.

До самого вечера и в течение всего следующего дня Василий Иванович придирался ко всем возможным предлогам, чтобы войти в комнату сына, и хотя он не только не упоминал об его ране, но даже старался говорить о самых посторонних предметах, однако он так настойчиво заглядывал ему в глаза и так тревожно наблюдал за ним, что Базаров потерял терпение и погрозился уехать. Василий Иванович дал ему слово не беспокоиться, тем более, что и Арина Власьевна, от которой он, разумеется, всё скрыл, начинала приставать к нему, зачем он не спит и что с ним такое подеялось. Целых два дня он крепился, хотя вид сына, на которого он всё посматривал украдкой, ему очень не нравился... но на третий день за обедом не выдержал. Базаров сидел потупившись и не касался ни до одного блюда.

— Отчего ты не ешь, Евгений?—спросил он, придав своему лицу самое беззаботное выражение.—Кушанье, кажется, хорошо приготовлено.

— Не хочется, так и не ем.

— У тебя аппетита нету? А голова?—прибавил он робким голосом.— Болит?

— Болит. Отчего ей не болеть?

Арина Власьева выпрямилась и насторожилась.

— Не рассердись, пожалуйста, Евгений,—продолжал Василий Иванович,—но не позволишь ли ты мне пульс у тебя пощупать?

Базаров приподнялся.

— Я, и не шупая, скажу тебе, что у меня жар.

— И озноб был?

— Был и озноб. Пойду прилягу; а вы мне пришлите липового чаю. Простудился, должно быть.

— То-то я слышала, ты сегодня ночью кашлял,—промолвила Арина Власьева.

— Простудился,—повторил Базаров и удалился.

Арина Власьева занялась приготовлением чая из липового цветка, а Василий Иванович вышел в соседнюю комнату и молча схватил себя за волосы.

Базаров уже не вставал в тот день и всю ночь провёл в тяжёлой, полузабывчивой дремоте. Часу в первом утра он, с усилием раскрыв глаза, увидел над собою при свете лампадки бледное лицо отца и велел ему уйти; тот повиновался, но тотчас же вернулся на цыпочках и, до половины заслонившись дверцами шкапа, неотвратимо глядел на своего сына. Арина Власьева тоже не ложилась и, чуть отворив дверь кабинета, то и дело подходила послушать, «как дышит Епоща», и посмотреть на Василия Ивановича. Она могла видеть одну его неподвижную, сгорбленную спину, но и это ей доставляло некоторое облегчение. Утром Базаров попытался встать; голова у него закружилась, кровь пошла носом; он лёг опять. Василий Иванович молча ему прислуживал; Арина Власьева вошла к нему и спросила его, как он себя чувствует. Он отвечал: «Лучше», и повернулся к стене. Василий Иванович замахал на жену обеими руками; она закусил губы, чтобы не заплакать, и вышла вон. Всё в доме вдруг словно потемнело; все лица вытянулись, сделалась странная тишина; со двора унесли на деревню какого-

то горластого петуха, который долго не мог понять, зачем с ним так поступают. Базаров продолжал лежать, уткнувшись в стену. Василий Иванович пытался обращаться к нему с разными вопросами, но они утомляли Базарова, и старик замер в своих креслах, только изредка хрустя пальцами. Он отправлялся на несколько мгновений в сад, стоял там, как истукан, словно поражённый несказанным изумлением (выражение изумления вообще не сходило у него с лица), и возвращался снова к сыну, стараясь избегать расспросов жены. Она наконец схватила его за руку и судорожно, почти с угрозой промолвила: «Да что с ним?» Тут он спохватился и принудил себя улыбнуться ей в ответ; но, к собственному ужасу, вместо улыбки у него откуда-то взялся смех. За доктором он послал с утра. Он почёл нужным предупредить об этом сына, чтобы тот как-нибудь не рассердился.

Базаров вдруг повернулся на диване, пристально и тупо посмотрел на отца и попросил напиться.

Василий Иванович подал ему воды и кстати пощупал его лоб. Он так и пылал.

— Старина,—начал Базаров сиплым и медленным голосом,—дело моё дрянное. Я заражён, и через несколько дней ты меня хоронить будешь.

Василий Иванович пошатнулся, словно кто по ногам его ударил.

— Евгений!—пролепетал он.—Что ты это!.. Бог с тобой! Ты простудился...

— Полно,—не спеша перебил его Базаров.—Врачу непозволительно так говорить. Все признаки заражения, ты сам знаешь.

— Где же признаки... заражения, Евгений?.. Помилуй!

— А это что?—промолвил Базаров и, приподняв рукав рубашки, показал отцу выступившие зловещие красные пятна.

Василий Иванович дрогнул и похолодел от страха.

— Положим,—сказал он наконец,—положим... если... если даже что-нибудь вроде... заражения...

— Пиэмпи,—подсказал сын.

— Ну да... вроде... эпидемии...

— Пиэмпи,—сурово и отчётливо повторил Базаров:— аль уж позабыл свои тетрадки?

— Ну да, да, как тебе угодно... А всё-таки мы тебя вылечим!

— Ну, это дудки. Но не в том дело. Я не ожидал, что так скоро умру; это случайность, очень, по правде сказать, неприятная. Вы оба с матерью должны теперь воспользоваться тем, что в вас религия сильна; вот вам случай поставить её на пробу.—Он отпил ещё немного воды.—А я хочу попросить тебя об одной вещи... пока еще моя голова в моей власти. Завтра или послезавтра мозг мой, ты знаешь, в отставку подаст. Я и теперь не совсем уверен, ясно ли я выражаюсь. Пока я лежал, мне всё казалось, что вокруг меня красные собаки бегали, а ты надо мной стойку делал, как над тетеревом. Точно я пьяный. Ты хорошо меня понимаешь?

— Помилуй, Евгений, ты говоришь совершенно, как следует.

— Тем лучше; ты мне сказал, ты послал за доктором... Этим ты себя потешил... потешь и меня: пошли ты нарочного...

— К Аркадию Николаичу,—подхватил старик.

— Кто такой Аркадий Николаич?—проговорил Базаров, как бы в раздумье.—Ах, да! Птенец этот! Нет, ты его не трогай: он теперь в галки попал. Не удивляйся, это еще не бред. А ты пошли нарочного к Одинцовой, Анне Сергеевне, тут есть такая помещица... Знаешь? (Василий Иванович кивнул головой.) Евгений, мол, Базаров кланяться велел и велел сказать, что умирает. Ты это исполнишь?

— Исполню... Только возможное ли это дело, чтобы ты умер, ты, Евгений... Сам посуди! Где ж после этого будет справедливость?

— Этого я не знаю; а только ты нарочного пошли.

— Сию минуту пошлю, и сам письмо напишу.

— Нет, зачем; скажи, что кланяться велел, больше ничего не нужно. А теперь я опять к моим собакам. Странно! Хочу остановить мысль на смерти, и ничего не выходит. Вижу какое-то пятно... и больше ничего.

Он опять тяжело повернулся к стене; а Василий Иванович вышел из кабинета и, добравшись до жениной спальни, так и рухнул на колени перед образами.

— Молись, Арина, молись!—простонал он.—Наш сын умирает.



\* \* \*

Доктор, тот самый уездный лекарь, у которого не нашлось адского камня, приехал и, осмотрев больного, посоветовал держаться методы выжидающей и тут же сказал несколько слов о возможности выздоровления.

— А вам случалось видеть, что люди в моём положении не отправляются в Елисейские?—спросил Базаров и, внезапно схватив за ножку тяжёлый стол, стоявший возле дивана, потряс его и сдвинул с места.

— Сила-то, сила,—промолвил он:—вся еще тут, а надо умирать!.. Старик, тот по крайней мере успел отвыкнуть от жизни, а я... Да, поди, попробуй отрицать смерть. Она тебя отрицает, и баста! Кто там плачет?—прибавил он, погодя немного.—Мать? Бедная! Кого-то она будет кормить теперь своим удивительным борщом? А ты, Василий Иванович, тоже, кажется, нюнишь? Ну, коли христианство не помогает, будь философом, стойком, что ли! Ведь ты хвастался, что ты философ?

— Какой я философ!—завопил Василий Иванович, и слёзы так и закапали по его щекам.

\* \* \*

Базарову становилось хуже с каждым часом; болезнь приняла быстрый ход, что обыкновенно случается при хирургических отравках. Он еще не потерял памяти и понимал, что ему говорили; он еще боролся. «Не хочу бредить,—шептал он, сжимая кулаки,—что за вздор!» И тут же говорил: «Ну, из восьми вычешь десять, сколько выйдет?» Василий Иванович ходил, как помешанный, предлагал то одно средство, то другое, и только и делал, что покрывал сыну ноги. «Обернуть в холодные простыни... рвотное... горчишники к желудку... кровопускание», говорил он с напряжением. Доктор, которого он умолил остаться, ему поддакивал, поил больного лимонадом, а для себя просил то трубочки, то «укрепляющего-согревающего», то есть водки. Арина Власьева сидела на низенькой скамеечке возле двери и только по временам уходила молиться; несколько дней тому назад туалетное

зеркальце выскользнуло у ней из рук и разбилось, а это она всегда считала худым предзнаменованием; сама Анфисушка ничего не умела сказать ей. Тимофеич отправился к Одинцовой.

Ночь была нехороша для Базарова... Жестокий жар его мучил. К утру ему полегчило. Он попросил, чтоб Арина Власевна его причесала, поцеловал у ней руку и выпил глотка два чаю. Василий Иванович оживился немного.

— Слава богу!—твердил он.—Наступил кризис... прошёл кризис.

— Эка, подумаешь!—промолвил Базаров.—Слово-то что значит! Нашёл его, сказал: «кризис», и утешен. Удивительное дело, как человек еще верит в слова. Скажут ему, например, дурака и не прибьют, он опечалится; назовут его умницей и денег ему не дадут—он почувствует удовольствие.

Эта маленькая речь Базарова, напоминавшая его прежние «выходки», привела Василия Ивановича в умиление.

— Bravo! Прекрасно сказано, прекрасно!—воскликнул он, показывая вид, что бьёт в ладоши.

Базаров печально усмехнулся.

— Так как же по-твоему,—промолвил он:—кризис прошёл или наступил?

— Тебе лучше, вот что я вижу, вот что меня радует,—отвечал Василий Иванович.

— Ну, и прекрасно; радоваться всегда не худо. А к той, помнишь? послал?

— Послал, как же.

\* \* \*

Перемена к лучшему продолжалась недолго. Приступы болезни возобновились. Василий Иванович сидел подле Базарова. Казалось, какая-то особенная мука терзала старика. Он несколько раз собирался говорить—и не мог.

— Евгений!—произнёс он наконец.—Сын мой, дорогой мой, милый сын!

Это необычайное воззвание подействовало на Базарова... Он повернул немного голову, и, видимо стараясь выбиться из-под бремени давившего его забвения, произнёс:

— Что, мой отец?

— Евгений,—продолжал Василий Иванович и опустился на колени перед Базаровым, хотя тот не раскрывал глаз и не мог его видеть.—Евгений, тебе теперь лучше; ты, бог даст, выздоровеешь; но воспользуйся этим временем, утешь нас с матерью, исполни долг христианина! Каково-то мне это тебе говорить, это ужасно; но ещё ужаснее... ведь навек, Евгений... ты подумай, каково-то...

Голос старика перервался, а по лицу его сына, хоть он и продолжал лежать с закрытыми глазами, проползло что-то странное.

— Я не отказываюсь, если это может вас утешить,—промолвил он наконец,—но мне кажется, спешить еще не к чему. Ты сам говоришь, что мне лучше.

— Лучше, Евгений, лучше, но кто знает, ведь это всё в божьей воле, а исполнивши долг...

— Нет, я подожду,—перебил Базаров.—Я согласен с тобою, что наступил кризис. А если мы с тобою ошиблись, что ж! Ведь и беспмятных причащают.

— Помилуй, Евгений...

— Я подожду. А теперь я хочу спать. Не мешай мне.

И он положил голову на прежнее место.

Старик поднялся, сел на кресло и, взявшись за подбородок, стал кусать себе пальцы...

\* \* \*

Стук рессорного экипажа, тот стук, который так особенно заметен в деревенской глуши, внезапно поразил его слух. Ближе, ближе катились лёгкие колёса; вот уже послышалось фыркание лошадей... Василий Иванович вскочил и бросился к окошку. На двор его домика, запряжённая четвернёй, въезжала двухместная карета. Не отдавая себе отчёта, что бы это могло значить, в порыве какой-то бессмысленной радости, он выбежал на крыльцо... Ливрейный лакей отворял дверцы кареты; дама под чёрным вуалем, в чёрной мантилье, выходила из неё...

— Я Одинцова,—промолвила она.—Евгений Васильич жив? Вы его отец? Я привезла с собою доктора.

— Благодетельница!—воскликнул Василий Иванович и, схватив её руку, судорожно прижал её к своим губам, между тем как привезённый Анной Сергеевной доктор, маленький человек в очках, с немецкою физиономией, вылезал не торопясь из кареты.—Жив ещё, жив мой Евгений и теперь будет спасён! Жена! Жена!.. К нам ангел с неба...

— Что такое, господи!—пролепетала, выбегая из гостиной, старушка и, ничего не понимая, тут же в передней упала к ногам Анны Сергеевны и начала, как безумная, целовать её платье.

— Что вы! Что вы!—твердила Анна Сергеевна; но Арина Власьева её не слушала, а Василий Иванович только повторял: «Ангел! Ангел!»

— Wo ist der Kranke? <sup>1</sup> И где же есть пациент?—проговорил наконец доктор не без некоторого негодования.

Василий Иванович опомнился.

— Здесь, здесь, пожалуйста за мной, вертестер герр коллега <sup>2</sup>,—прибавил он по старой памяти.

— Э!—произнёс немец и кисло осклабился.

Василий Иванович привёл его в кабинет.

— Доктор от Анны Сергеевны Одинцовой,—сказал он, наклоняясь к самому уху своего сына,—и она сама здесь.

Базаров вдруг раскрыл глаза.

— Что ты сказал?

— Я говорю, что Анна Сергеевна Одинцова здесь и привезла к тебе сего господина доктора.

Базаров повёл вокруг себя глазами.

— Она здесь... я хочу её видеть.

— Ты её увидишь, Евгений; но сперва надобно побеседовать с господином доктором. Я им расскажу всю историю болезни, так как Сидор Сидорыч уехал (так звали уездного врача), и мы сделаем маленькую консультацию.

Базаров взглянул на немца.

— Ну, беседуйте скорее, только не по-латыни, я ведь понимаю, что значит: jam moritur <sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Где больной? (немец.)

<sup>2</sup> Дорогой коллега (немец.)

<sup>3</sup> Уже умирает (латинск.)



— Der Herr scheint des Deutschen mächtig zu sein?..<sup>1</sup>—  
начал новый питомец Эскулапа, обращаясь к Василию Ивановичу.

— Их... габе... говорите уж лучше по-русски,—промолвил старик.

— А—а! Так этто фот как этто... Пошалауй...

И консультация началась.

Полчаса спустя Анна Сергеевна, в сопровождении Василия Ивановича, вошла в кабинет. Доктор успел шепнуть ей, что нечего и думать о выздоровлении больного.

Она взглянула на Базарова... и остановилась у двери,—до того поразило её это воспалённое и в то же время мертвенное лицо с устремлёнными на неё мутными глазами. Она просто испугалась каким-то холодным и томительным испугом; мысль, что она не то бы почувствовала, если бы точно его любила,—мгновенно сверкнула у ней в голове.

— Спасибо,—усиленно заговорил он:—я этого не ожидал. Это доброе дело. Вот мы ещё раз и увиделись, как вы обещали.

— Анна Сергеевна так была добра...—начал Василий Иванович.

— Отец, оставь нас... Анна Сергеевна, вы позволяете? Кажется, теперь...

Он указал головою на своё распростёртое бессильное тело. Василий Иванович вышел.

— Ну, спасибо,—повторил Базаров.—Это по-царски. Говорят, цари тоже посещают умирающих.

— Евгений Васильич, я надеюсь...

— Эх, Анна Сергеевна, станемте говорить правду. Со мной кончено. Попал под колесо. И выходит, что нечего было думать о будущем. Старая штука смерть, а каждому внове. До сих пор не трушу... а там придёт беспометство, и фюить! (Он слабо махнул рукой.) Ну, что ж мне вам сказать... Что я любил вас? Это и прежде не имело никакого смысла, а теперь (подавно). Любовь—форма, а моя собственная форма уже разлагается.

<sup>1</sup> Господин, кажется, владеет немецким языком?.. (немец.)

Скажу я лучше,—что—какая вы славная! И теперь вот вы стоите, такая красивая...

Анна Сергеевна невольно содрогнулась.

— Ничего, не тревожьтесь... сядьте там... Не подходите ко мне: ведь моя болезнь заразительная.

Анна Сергеевна быстро перешла комнату и села на кресло возле дивана, на котором лежал Базаров.

— Великодушная!—шепнул он.—Ох, как близко, и какая молодая, свежая, чистая... в этой гадкой комнате!.. Ну, прощайте! Живите долго, это лучше всего, и пользуйтесь, пока время. Вы посмотрите, что за безобразное зрелище: червяк полураздавленный, а еще топорщится. И ведь тоже думал: обломаю дел много, не умру, куда! Задача есть, ведь я гигант! А теперь вся задача гиганта—как бы умереть прилично, хотя никому до этого дела нет... Всё равно: вилять хвостом не стану.

Базаров умолк и стал ощупывать рукой свой стакан. Анна Сергеевна подала ему напиток, не снимая перчаток и боязливо дыша.

— Меня вы забудете,—начал он опять:—мёртвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет... Это чепуха, но не разуверяйте старика. Чем бы дитя ни тешилось... вы знаете. И мать приласкайте. Ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днём с огнём не сыскать... Я нужен России... Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен... мясник... мясо продаёт... мясник... постойте, я путаюсь... Тут есть лес...

Базаров положил руку на лоб.

Анна Сергеевна наклонилась к нему.

— Евгений Васильич, я здесь...

Он разом принял руку и приподнялся.

— Прощайте,—проговорил он с внезапной силой, и глаза его блеснули последним блеском.—Прощайте... Послушайте... ведь я вас не поцеловал тогда... Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она погаснет...

Анна Сергеевна приложила губами к его лбу.

— И довольно!—промолвил он и опустил на подушку.—Теперь... темнота...

Анна Сергеевна тихо вышла.

— Что?—спросил её шопотом Василий Иванович.

— Он заснул,—отвечала она чуть слышно.

Базарову уже не суждено было просыпаться. К вечеру он впал в совершенное беспамятство, а на следующий день умер. Отец Алексей совершил над ним обряды религии. Когда его соборовали, когда святое миро коснулось его груди, один глаз его раскрылся, и, казалось, при виде священника в облачении, дымящегося кадила, свеч перед образом, что-то похожее на содрогание ужаса мгновенно отразилось на помертвелом лице. Когда же наконец он испустил последний вздох и в доме поднялось всеобщее стенание, Василием Ивановичем обуяло внезапное исступление. «Я говорил, что я возропщу,—хрипло кричал он, с пылающим, перекошенным лицом, потрясая в воздухе кулаком, как бы грозя кому-то,—и возропщу, возропщу!» Но Арина Власьевна, вся в слезах, повисла у него на шее, и оба вместе пали ниц. «Так,—рассказывала потом в людской Анфисушка,—рядышком и понурили свои головки, словно овечки в полдень...»

Есть небольшое сельское кладбище в одном из отдалённых уголков России. Как почти все наши кладбища, оно являет вид печальный: окружавшие его канавы давно заросли; серые деревянные кресты поникли и гниют под своими когда-то крашеными крышами; каменные плиты все сдвинуты, словно кто их подталкивает снизу; два-три ошипанных деревца едва дают скудную тень; овцы безвозбранно бродят по могилам... Но между ними есть одна, до которой не касается человек, которую не топчет животное: одни птицы садятся на неё и поют на заре. Железная ограда её окружает; две молодые ёлки посажены по обоим её концам: Евгений Базаров похоронен в этой могиле. К ней, из недалёкой деревушки, часто приходят два уже дряхлых старичка—муж с женою. Поддерживая друг друга, идут они отяжелевшею походкой; приблизятся к ограде, припадут и станут на колени, и долго и горько плачут, и долго и внимательно смотрят на немой камень, под которым лежит их сын; помеляются коротким словом, пыль смахнут с камня да ветку ёлки

поправят, и снова молятся, и не могут покинуть это место, откуда им как будто ближе до их сына, до воспоминаний о нём... Неужели их молитвы, их слёзы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всеильна? О, нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами; не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии «равнодушной» природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной.



## Отрывок

...Соден—небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Таунуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей с слабой грудью. Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и клёнов. Дорога от Франкфурта до Содена идёт по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз видел их обоих вместе. Она держалась спокойно и просто, но несколько сдержаннее и серьёзнее обыкновенного; он смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе, и своим подчинённым скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют «*empressement*», Санин в нём не заметил. Видно было, что г. Клюбер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг! Даже во время большой передобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом, даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, всё с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная на-

чальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того, чтобы сделать несколько живописных изгибов; не одобрял также поведения одной птицы—зяблика, которая не довольно разнообразила свои колена. Джемма не скучала и даже, повидимому, ощущала удовольствие; но прежней Джеммы—Санин в ней не узнавал: не то, чтобы тень на неё набежала—никогда её красота не была лучезарней,—но душа её ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша,—как гуляют образованные девицы—и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шёл на немецком языке. Один Тарталья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо лакал её, отряхался, взвизгивал—и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо. Г. Клюбер, с своей стороны, сделал всё, что полагал нужным для увеселения компании: попросил её усесться в тени развесистого дуба—и, достав из бокового кармана небольшую книжечку, под заглавием: «Knallerbsten—oder du sollst und wirst lachen!» (Петарды—или ты должен и будешь смеяться!), принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочёл их штук двенадцать; однако, весёлости возбудил мало: один Санин, из приличия, скалил зубы, да сам он, г. Клюбер, после каждого анекдота, производил короткий, деловой—и всё-таки снисходительный смех. К двенадцати часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.

Г-н Клюбер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке—«im Gartensalon, но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть всё с одними и теми же лицами, и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новоприбывших гостей.

Пока г. Клюбер, снисходительно покорившись «капризу своей гелесты», ходил советоваться с обер-кельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы; она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на неё—это, казалось, её сердило. Наконец, г. Клюбер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодецкие позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахивал и потрясал ногою. В своём роде он был атлет—и сложен превосходно! И руки у него были такие белые и красивые, и утирал он их таким богатым, золотисто-пёстрым, индийским фуляром!

Наступил момент обеда—и всё общество уселось за столы.

Кому не известно, что такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клёцками и корицей, разварная говядина, сухая как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свёклой и жёванным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво—хоть куда! Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, самый обед прошёл благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда г. Клюбер провозгласил тост за «то, что мы любим!» (Was wir lieben!). Уж очень всё было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клюбер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару... Но тут, вдруг, случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное—и даже неприличное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешёптываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их; один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на неё, как на фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся

и, со стаканом в руке,—гг. офицеры сильно подпили и вся скатерть перед ними была установлена бутылками,—приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой, белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щёки подёргивало, воспалённые глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была—что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, всё-таки высказывалась борьба с самим собою, произнёс: «Пью за здоровье прекраснейшей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул» стакан)—и в возмездие беру этот цветок, сорванный её божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием; она вдруг покраснела вся, до самых волос,—и её глаза, прямо устремлённые на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнём неужимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, поклонился—и пошёл назад, к своим. Они встретили его смехом и лёгким рукоплесканием.

Г-н Клюбер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко, произнёс: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» («Unerhört! Unerhörte Frechheit») и тотчас же, строгим голосом подзвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчёта... мало того: приказал заложить карету, причём прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своём месте, не шевелясь,—её грудь резко и высоко поднималась,—Джемма перевела глаза свои на г. Клюбера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.



— Встаньте, мейн фрейлейн,—промолвил всё с той же строгостью г. Клюбер,—здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча: он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою—и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась всё величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплёлся вслед за ними.

Но пока г. Клюбер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошёл к столу, за которым сидели офицеры,—и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновенье давал своим товарищам поочередно нюхать её розу), произнёс отчётливо по-французски: «То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите,—и я пришёл вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал!»—Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть—и, повернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски: «Что он родственник, брат или жених той девицы?»

— Я ей совсем чужой человек,—воскликнул Санин,—я русский, но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: г. офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе в тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» (Dönhof, sei still!). Потом сам приподнялся—и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном и поспешно вернулся к своим приятелям.

Г-н Клюбер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с гг. офицерами; он понукал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутым её бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой её неподвижности можно было понять, что у ней не хорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниним, желал расспросить его: он видел, как Санин подошёл к офицерам, видел, как он подал им что-то белое,—клочок бумажки, записку, карточку... Сердце билось у бедного юноши, щёки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или итти тотчас, вместе с ним, расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга.

Кучер, наконец, заложил лошадей; всё общество село в карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему там было привольнее, да и Клюбер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клюбер разглагольствовал... и разглагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло! Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчёт того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и не довольно уважает гражданский элемент общества (*das bürgerliche Element in der Societät*)—и как от этого, со временем, возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером (тут он вздохнул сочувственно, но строго)—печальным примером служит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично благоговеет перед властью и никогда... никогда!.. революционером не будет—но не может не выразить своего... неодобрения при виде такой распушенности! Потом прибавил ещё несколько общих замеча-

ний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства.

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной г-м Клюбером—оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием—Джемма явно стала стыдиться своего жениха! Под конец поездки она положительно страдала, и хотя, попрежнему, не заговаривала с Саниним, но вдруг бросила на него умоляющий взор... С своей стороны он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодования против г-на Клубера; он даже втайне полусознательно радовался всему, что случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро.

Мучительная эта *partie de plaisir* прекратилась наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращённую им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниним; он словно дичился его: уж очень он ему удивлялся. Клюбер отвёз Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу, при всей его самоуверенности, было неловко. Да и всем было неловко...

# ИЗ ПИСЕМ, ВОСПОМИНАНИЙ И ПУБЛИЦИСТИКИ

---

## ИЗ ПИСЕМ

...Падение гнусной империи Наполеона доставило мне великую радость: нравственное чувство во мне удовлетворилось после такого долгого ожидания! Но я не скрываю от самого себя, что не всё впереди розового цвета—и завоевательная алчность, овладевшая всей Германией, не предъявляет особенно утешительного зрелища.

Из письма Я. П. Полонскому 6/IX 1870 г.

...Ты пишешь, в возражение ко мне,—разве Германия была слаба умственным развитием, когда душила войной французов? Душа моя—вся штука в том, как мы смотрим на войну и чего от неё ожидаем? Вся Германия расхохоталась бы от Велера до Дуная, если бы ей сказали, что она ведёт войну для собственного нравственного очищения: она воевала с французами, чтобы округлиться, да объединиться, да отнять у них Эльзас и Лотарингию.

Из письма Я. П. Полонскому 30/XII 1876 г.

...Вы хотите знать моё мнение об отношении Германии к России? Ну вот моё мнение: и пяти лет не пройдёт, как между обоими этими народами завяжется опустошительная война—и начнёт Германия...

Из письма Пичу 12/XI 1879 г.



...Боже!—какими неженками стали немцы... какими мнительными старыми девами!

Вы не можете перенести, что в моей последней повести<sup>1</sup> я чуточку вас поцарапал? В Санктпетербургской (немецкой) газете некий критик поднял на меня травлю. Он призывает офицеров германской армии стереть с лица земли клеветника и дерзкого лгуна (т. е. меня). До сих пор я считал, что у немцев больше сдержанности и беспристрастия...

Из письма Пичу 27/VII 1872 г.

## ИЗ РЕЦЕНЗИИ НА ДРАМУ ГЕДЕОНОВА «СМЕРТЬ ЛЯПУНОВА»

### *Отрывок*

...Исторический роман, историческая драма... Если каждого из нас так сильно занимает верное изображение развития самого обыкновенного человека, то какое впечатление должно производить на нас воспроизведение развития нашего родного народа, его физиономии, его сердечного, его духовного быта, его судеб, его великих дел?—Вспомните драматизированные хроники Шекспира, «Геца фон-Берлихинген», романы Вальтер-Скотта, наконец даже Витэ и Меримé. Кто решается—не смиренно и терпеливо пересказать судьбы своего народа, следуя современным бытописаниям, но в живых образах и лицах воссоздать своих предков, избегнуть холода аллегорий и не впасть в сухой реализм хроники, действительно представить некогда действительную жизнь,—тому мало даже большого таланта: если в сердце его не кипит русская кровь, если народ ему не близок и не понятен прямо, непосредственно, без всяких рассуждений, пусть он лучше не касается святыни старины... Но великие дела тем и отличаются от малых, что они кажутся лёгкими для всех, хотя действительно легки для весьма

<sup>1</sup> «Вешние воды» (напечатаны в 1872 г.).

немногих; оттого-то такое множество людей у нас и берётся за исторические драмы.

Оно понятно и с другой стороны. Кому не дорог успех, кому не хочется рукоплесканий? В сердце русского живёт такая горячая любовь к родине, что одно её священное имя, произнесённое перед публикой, вызывает клики одобрения и участия...

...Да, русская старина нам дорога, дороже, чем думают иные. Мы стараемся понять её ясно и просто; мы не превращаем её в систему, не втягиваем в полемику; мы её любим не фантастически-вычурною, старческою любовью: мы изучаем её в живой связи с действительностью, с нашим настоящим и нашим будущим, которое совсем не так оторвано от нашего прошедшего, как опять-таки думают иные.

1846

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ И ЖИТЕЙСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

### *Отрывок*

...Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твёрдости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определённый образ, носил известное имя: враг этот был—крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил всё, против чего я решился бороться до конца—с тем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал её себе тогда. Я и на Запад ушёл для того, чтобы лучше её исполнить. И я не думаю, чтобы моё западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания её особенностей и нужд. «Записки Охотника», эти, в своё время новые, впоследствии далеко опережённые, этюды были написаны мною за

границей; некоторые из них—в тяжёлые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину, или нет? Мне могут возразить, что та частичка русского духа, которая в них замечается, уцелела не по милости моих западных убеждений, но несмотря на эти убеждения и помимо моей воли. Трудно спорить о подобном предмете; знаю только, что я, конечно, не написал бы «Записок Охотника», если бы остался в России. Скажу также, что я никогда не признавал той непрístupной черты, которую иные заботливые и даже рьяные, но малосведущие патриоты непременно хотят провести между Россией и Западной Европой, той Европой, с которой порода, язык, вера так тесно её связывают... Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой—нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохенький народец!

1868

## ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛИНСКОМ

### *Отрывки*

...«Белинский был тем, что я позволю себе назвать центральной натурой: он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа, воплощал его вполне, и с хороших, и с дурных его сторон...»

...Быть может некоторые читатели удивятся слову: «идеалист», которым я почёл за нужное охарактеризовать Белинского. На это я замечу, что, во-первых, в 59-м году не было возможности называть многие вещи настоящими их именами; а во-вторых, мне—признаюсь в том—доставило не малое удовольствие объявить Белинского «идеалистом» перед собранием лю-

дей, которым имя его представлялось неразрывно связанным с понятием о цинике, грубом материалисте и т. п. К тому же, и самое название шло к нему. Белинский был настолько же идеалист, насколько отрицатель; он отрицал во имя идеала. Этот идеал был свойства весьма определённого и однородного, хотя именовался и именуется доселе различно: наукой, прогрессом, гуманностью, цивилизацией,—Западом, наконец. Люди благонамеренные, но недоброжелательные, употребляют даже слово: революция. Дело не в имени, а в сущности, которая до того ясна и несомненна, что и распространяться о ней не стóит; недоразумения тут немыслимы. Белинский посвятил всего себя служению этому идеалу; всеми своими симпатиями, всей своей деятельностью принадлежал он к лагерю «западников», как их прозвали их противники. Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя; но и потому, что был глубоко убеждён в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом—для развития собственных её сил, собственного её значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны<sup>1</sup>. Принимать результаты западной жизни, применять их к нашей, соображаясь с особенностями природы, истории, климата,—впрочем, относиться и к ним свободно, критически— вот каким образом могли мы, по его понятию, достигнуть, наконец, самобытности, которою он дорожил гораздо более, чем обыкновенно предполагают. Белинский был вполне русский человек, даже патриот—разумеется, не на лад М. Н. Загоскина; благо родины, её величие, её слава возбуждали в его сердце

---

<sup>1</sup> Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта: «Пётр Великий», и с особенным чувством приносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим —

Ряд изумлённых поколений  
Рукой могучей за собой,

(Прим. автора.)



глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он также пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы—вот в чём состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился. Уверять, что он из одного раболепного и неосмысленного смирения недоучки преклонялся пред Западом—значило не знать его вовсе; к тому же, не смирением грешат обыкновенно недоучки. Белинский ещё потому благоговел перед памятью Петра Великого и, не обинуясь, признавал его нашим спасителем, что уже при Алексее Михайловиче он в нашем старом общественном и гражданском строе находил несомненные признаки разложения—и, следовательно, не мог верить в правильное и нормальное развитие нашего организма, подобное тому, каким оно является на Западе. Дело Петра Великого было, точно, насильем, было тем, что в новейшее время получило название: *coup d'état*; но только по милости целого ряда этих насильственных, свыше исходящих мер были мы втолкнуты в семью европейских народов. Необходимость подобных реформ еще доньше не прекратилась. В подтверждение этого мнения можно было бы привести самые недавние примеры. Какое место мы уже заняли в той семье—это покажет история; но несомненно то, что мы шли до сих пор, и должны были идти (с чем господа славянофилы, конечно, не согласятся), должны были идти другими путями, чем более или менее органически развивавшиеся западные народы.

А что западнические убеждения Белинского ни на волос не ослабили в нём его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая была во всём его существе,—тому доказательством служит каждая его статья<sup>1</sup>. Да, он чувствовал русскую суть, как никто. Не признавая наших лже-классических, лже-народных авторитетов, ниспровер-

---

<sup>1</sup> См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове, и особенно его статьи о народных песнях и былинах. При слабости и скудости тогдашних филологических и археологических данных—они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества. (Прим. автора.)

гая их,—он в то же время тоньше всех и вернее всех умел оценить и дать уразуметь другим то, что было действительно самобытного, оригинального в произведениях нашей литературы.

1868

## ПИСЬМО ИЗ ПЕТЕРБУРГА

Гоголь умер!—Какую русскую душу не потрясут эти два слова?—Он умер. Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам всё еще не хочется ей верить. В то самое время, когда мы все могли надеяться, что он нарушит, наконец, своё долгое молчание, что он обрадует, превзойдёт наши нетерпеливые ожидания,—пришла эта роковая весть!—Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертию, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы; человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!—Он умер, поражённый в самом цвете лет, в разгаре сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников... Его утрата возобновляет скорбь о тех незабвенных утратах, как новая рана возбуждает боль старинных язв. Не время теперь и не место говорить об его заслугах—это дело будущей критики; должно надеяться, что она поймёт свою задачу и оценит его тем беспристрастным, но исполненным уважения и любви судом, которым подобные ему люди судятся перед лицом потомства; нам теперь не до того: нам только хочется быть одним из отголосков той великой скорби, которую мы чувствуем разлитую повсюду вокруг нас; не оценивать его нам хочется, но плакать; мы не в силах говорить теперь спокойно о Гоголе... самый любимый, самый знакомый образ неясен для глаз, орошённых слезами... В день, когда его хоронит Москва, нам хочется протянуть ей отсюда руку—соединиться с ней в одном чувстве общей печали. Мы не могли взглянуть в последний раз на его безжизненное лицо; но мы шлём ему издалека наш прощальный привет—и с благоговейным чувством слагаем дань нашей скорби и нашей любви на его свежую

могилу, в которую нам не удалось, подобно москвичам, бросить горсть родимой земли!—Мысль, что прах его будет покоиться в Москве, наполняет нас каким-то горестным удовлетворением. Да, пусть он покоится там, в этом сердце России, которую он так глубоко знал и так любил, так горячо любил, что одни легкомысленные или близорукие люди не чувствуют присутствия этого любовного пламени в каждом им сказанном слове! Но невыразимо тяжело было бы нам подумать, что последние, самые зрелые плоды его гения погибли для нас навсегда—и мы с ужасом внимаем жестоким слухам об их истреблении...

Едва ли нужно говорить о тех немногих людях, которым слова наши покажутся преувеличенными, или даже вовсе неуместными... Смерть имеет очищающую и примиряющую силу; клевета и зависть, вражда и недоразумения—всё смолкает перед самою обыкновенною могилой! Они не заговорят над могилою Гоголя. Какое бы ни было окончательное место, которое оставит за ним история, мы уверены, что никто не откажется повторить теперь же вслед за нами: мир его праху, вечная память его жизни, вечная слава его имени!

1852

### А. С. ПУШКИН

*Отрывки из речи на заседании Общества любителей российской словесности*

Пушкин был первым русским художником-поэтом. Художество, принимая это слово в том обширном смысле, который включает в его область и поэзию,—художество, как воспроизведение, воплощение идеалов, лежащих в основах народной жизни и определяющих его духовную и нравственную физиономию,—составляет одно из коренных свойств человека. Уже предчувствуемое и указанное в самой природе, художество—искусство—является, правда, тоже как подражание, но уже одухотворённое, в самой ранней поре народного существования, как нечто отличительно-человеческое. Дикарь каменного периода,

начертанный концом кремня на приспособленном обломке кости медвежьей или лосиную голову, уже перестал быть дикарем, животным. Но только тогда, когда творческой силою избранных народ достигает сознательно-полного, своеобразного выражения своего искусства, своей поэзии—он тем самым заявляет своё окончательное право на собственное место в истории; он получает свой духовный облик и свой голос—он вступает в братство с другими, признавшими его народами. Недаром же Греция называется родиной Гомера, Германия—Гёте, Англия—Шекспира. Мы не думаем отрицать важность других проявлений народной жизни—в сфере религиозной, государственной и др.; но та особенность, на которую мы сейчас указывали—даёт народу его искусство, его поэзия. И этому нечего удивляться: искусство народа—его живая, личная душа, его мысль, его язык в высшем значении слова; достигнув своего полного выражения, оно становится достоянием всего человечества даже больше, чем наука, именно потому, что оно—звучащая, человеческая, мыслящая душа и душа не умирающая, ибо может пережить физическое существование своего тела, своего народа. Что нам осталось от Греции? Её душа осталась нам! Религиозные формы, а за ними научные, также переживают народы, в которых они проявились, но в силу того, что в них есть общего, вечного; поэзия, искусство—в силу того, что есть в них личного, живого.

Пушкин, повторяем, был нашим первым поэтом-художником. В поэте, как в полном выразителе народной сути, сливаются два основных её начала: начало восприимчивости и начало самостоятельности, женское и мужское начало,—осмелились мы бы прибавить. У нас же, русских, позднее других вступивших в круг европейской семьи, оба эти начала получают особую окраску; восприимчивость у нас является двойственною: и на собственную жизнь, и на жизнь других западных народов со всеми её богатствами—и подчас горькими для нас плодами; а самостоятельность наша получает тоже какую-то особенную, неравномерную, порывистую иногда, зато гениальную силу: ей приходится бороться и с чуждым усложнением, и с собственными противоречиями. Вспомните, мм. гг.,



Петра Великого, натура которого как-то родственна натуре самого Пушкина. Недаром же он питал к нему особенное чувство любовного благоговения! Эта двойственная восприимчивость, о которой мы сейчас говорили, знаменательно отразилась в жизни нашего поэта: сперва рождение в старо-дворянском барском доме, потом иноземческое воспитание в лицее, влияние тогдашнего общества, проникнутого извне занесёнными принципами: Вольтер, Байрон и великая народная война 12-го года, а там—удаление в глубь России, погружение в народную жизнь, в народную речь, и знаменитая старушка-няня с её эпическими рассказами. Что же касается до самодеятельности, то она в Пушкине возбудилась рано и, быстро утратив свой ищущий, неопределённый характер, превратилась в свободное творчество. Ему и 18 лет не было, когда Батюшков, прочитав его элегию: «Редеет облаков летучая гряда», воскликнул: «Злодей! как он начал писать!» Батюшков был прав: так еще никто не писал на Руси...

...Мы... находим в языке, созданном Пушкиным, все условия живучести: русское творчество и русская восприимчивость стройно слились в этом великолепном языке, и Пушкин сам был великолепный русский художник.

Именно: русский! Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа. Не говоря уже о мужественной прелести, силе и ясности его языка—эта прямодушная правда, отсутствие лжи и фразы, простота, эта откровенность и честность ощущений—все эти хорошие черты хороших русских людей поражают в творениях Пушкина не одних нас, его соотечественников, но и тех из иноземцев, которым он стал доступен. Суждения таких иноземцев бывают драгоценны: их не подкупает патриотическое увлечение. «Ваша поэзия»,—сказал нам однажды Мериме, известный французский писатель и поклонник Пушкина, которого он, не обинуясь, называл величайшим поэтом своей эпохи, чуть ли не в присутствии самого Виктора Гюго: «ваша поэзия ищет прежде всего правды, а красота потом является сама собою; наши поэты, напротив, идут совсем противоположной дорогой: они хлопочут прежде всего об эффекте, остроумии, блеске, и если

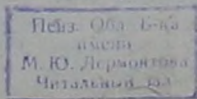
ко всему этому им предстанет возможность не оскорблять правдоподобия, так они и это, пожалуй, возьмут в придачу...» «У Пушкина,—прибавлял он,—поэзия чудным образом расцветает, как бы сама собою из самой трезвой прозы»...

...Да, Пушкин был центральный художник, человек, близко стоящий к самому средоточию русской жизни. Этому его свойству должно приписать и ту мощную силу самобытного присвоения чужих форм, которую сами иностранцы признают за нами, правда, под несколько пренебрежительным именем способности к «ассимиляции». Это свойство дало ему возможность создать, напр., монолог «Скупого рыцаря», под которым с гордостью подписался бы Шекспир. Поразительна также в поэтическом темпераменте Пушкина эта особенная смесь страстности и спокойствия, или, говоря точнее, эта объективность его дарования, в котором субъективность его личности сказывается лишь одним внутренним жаром и огнём...

...Вслед за скоро прерванным голосом Лермонтова, когда Гоголь стал уже властителем людских дум, зазвучал голос поэта «мести и печали», а за ним пошли другие—и повели за собою нарастающие поколения. Искусство, завоевавшее творениями Пушкина право гражданства, несомненность своего существования, язык, им созданный,—стало служить другим началам, столь же необходимым в общественном устройении. Многие видели и видят до сих пор в этом изменении простой упадок; но мы позволим себе заметить, что падает, рушится только мёртвое, неорганическое. Живое изменяется органически—ростом. А Россия растёт, не падает. Что подобное развитие—как всякий рост—неизбежно сопряжено с болезнями, мучительными кризисами, с самыми злыми, на первый взгляд безвыходными противоречиями—доказывать, кажется, нечего; нас этому учит не только всеобщая история, но даже история каждой отдельной личности. Сама наука нам говорит о необходимых болезнях. Но смущаться этим, оплакивать прежнее, всё-таки относительное спокойствие, стараться возвратиться к нему—и возвращать к нему других, хотя бы насильно—могут только отжившие или близорукие люди. В эпохи народной жизни, носящие название переходных,—дело мыслящего чело-

века, истинного гражданина своей родины—итти вперёд, не смотря на трудность и часто грязь пути, но итти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом...

...Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку, который теперь, по своему богатству, силе, логике и красоте формы, признаётся даже иностранными филологами едва ли не первым после древнегреческого; он отозвался типическими образцами, бессмертными звуками, на все веяния русской жизни. Он первый, наконец, водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю, и если пыль поднявшейся после него битвы затемнила на время это светлое знамя—то теперь, когда эта пыль начинает опадать, снова засиял в вышине водружённый им победоносный стяг. Сияй же, как он, благородный медный лик, воздвигнутый в самом сердце древней столицы, и гласи грядущим поколениям о нашем праве называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и такой человек! И как о Шекспире было сказано, что всякий вновь выучившийся грамоте неизбежно становится его новым чтецом—так и мы будем надеяться, что всякий наш потомок, с любовью остановившийся перед изваянием Пушкина и понимающий значение этой любви, тем самым докажет, что он, подобно Пушкину, стал более русским и более образованным, более свободным человеком! Пусть это последнее слово не удивит вас, мм. гг! В поэзии—освободительная, ибо возвышающая, нравственная сила. Будем также надеяться, что в недалёком времени даже сыновьям нашего простого народа, который теперь не читает нашего поэта, станет понятно, что значит это имя: Пушкин!—и что они повторят уже сознательно то, что нам довелось недавно слышать из бессознательно лепечущих уст: «Это памятник—учителю!»



## СОДЕРЖАНИЕ

Н. Калитин — И. С. Тургенев . . . . .	3
Деревня . . . . .	9
Из «Записок охотника»	
Бежин луг . . . . .	11
Касьян с Красивой Мечи . . . . .	31
Хорь и Калиныч . . . . .	50
Певцы . . . . .	62
Лес и степь . . . . .	64
Живые мощи . . . . .	70
Из «Стихотворений в прозе»	
Порог . . . . .	83
Памяти Ю. П. Вревской . . . . .	84
Два богача . . . . .	85
Мы еще повоюем! . . . . .	85
Русский язык . . . . .	86
Отцы и дети. Отрывок . . . . .	87
Вешние воды. Отрывок . . . . .	100
Из писем, воспоминаний и публицистики	
Из писем . . . . .	107
Из рецензии на драму Гедеонова «Смерть Ляпунова» . . . . .	108
Отрывок . . . . .	108
Литературные и житейские воспоминания. Отрывок . . . . .	109
Воспоминания о Белинском. Отрывки . . . . .	110
Письмо из Петербурга . . . . .	113
А. С. Пушкин. Отрывки из речи на заседании О-ва любителей российской словесности . . . . .	114



Редактор *А. Котов*

Подписано к печати 9/III—1944 г.  
А 2699. Тираж 25 000. 3 $\frac{3}{4}$  печ. лист.  
6,12 уч.-авт. л. Заказ № 1604.  
Цена 3 р.

---

3-я типография «Красный пролетарий»  
Органа РСФСР треста «Полиграфкнига»  
Москва, Краснопролетарская, 16.

02

